

ПОСЛЕДНИЙ
СОЛДАТ
ИМПЕРИИ



Александр

ПРОХАНОВ

ГОСПОДИН ГЕКСОГЕН



Александр Андреевич Проханов

Господин Гексоген

*Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=122923
Господин Гексоген: Эксмо; Москва; 2007
ISBN 978-5-699-22219-3*

Аннотация

Последние годы ушедшего века насыщены трагическими событиями, среди которых кровавой строкой выделяется чеченская кампания. Генерал внешней разведки в отставке Виктор Белосельцев оказывается втянутым в политическую войну, пламя которой усердно поддерживают бывшие сотрудники советских спецслужб и чеченские боевики. Продвигая своего человека к вершине власти, организация заговорщиков не брезгует никакими методами, вплоть до массовой казни простых граждан. От генерала Белосельцева требуются титанические усилия, чтобы хоть как-то повлиять на развитие событий. Его взгляд на события новейшей российской истории порой шокирует своей неожиданностью, но оттого книга становится яркой, интересной и увлекательной.

Содержание

Часть I	4
Глава первая	4
Глава вторая	14
Глава третья	25
Глава четвертая	36
Глава пятая	49
Глава шестая	61
Глава седьмая	71
Глава восьмая	82
Конец ознакомительного фрагмента.	91

Александр Проханов

Господин Гексоген

Часть I

Операция «Прокурор»

Глава первая

Генерал разведки в отставке Виктор Андреевич Белосельцев чувствовал приближение осени по тончайшей желтизне, текущей в бледном воздухе московского утра, словно где-то уронили капельку йода и она растворялась среди фасадов и крыш, просачивалась струйками в форточку, плавала в пятне водянистого солнца, создавая ощущение незримой болезни, поразившей город, его бульвары и здания, жильцов и прохожих, церкви и кремлевские башни и его самого, Белосельцева, недвижно сидящего в негреющем свете затуманенного окна. Туман на стекле был золотисто-зеленый, такой же, как Тверской бульвар, где под липами, у черных стволов, начинали скапливаться озерки опавшей листвы. Ядовитый цвет увядания присутствовал в иконе, с которой осыпалась блеклая позолота нимбов. В коробках с бабочками, терявшими желтую сухую пыльцу. В стакане бледного чая, где преломлялась серебряная ложечка с полустертой фамильной монограммой. Он недвижно сидел, чувствуя, как горькие яды осени, порождая легкое головокружение, втекают в его кровь и дыхание, словно он надкусил черенок осинового листа, желтого, с капелькой бледной лазури. День, который он начинал, не сулил ему встреч и событий, был похож на бледное световое пятно, медленно плывущее над его головой. «О тебе, моя Африка, шепотом в небесах говорят серафимы...» – повторял он стихотворную строчку, случайно залетевшую в память, трепетавшую там, не в силах улететь, словно бабочка, попавшая в паутину.

Телефонный звонок из гостиной донесся до кабинета и породил ощущение, будто в душе стеклорезом нанесли царапину.

– Виктор Андреевич, прости, что рано потревожил... Это Гречишников... Здесь такое печальное обстоятельство... Умер генерал Авдеев, которому, кажется, именно ты дал прозвище Суахили... Сегодня отпевают... Приходи, Виктор Андреевич, простимся с командиром... Панихида в одиннадцать... Хочу тебя повидать...

Еще несколько слов, произнесенных знакомым голосом, слабо дребезжащим, словно стакан в подстаканнике на столике идущего поезда. Царапина в душе, оставленная телефонным звонком. И болезненное изумление – застрявшая в памяти гумилевская строчка об Африке и небесных серафимах превратилась в известие о кончине старого генерала разведки, отправлявшего его, Белосельцева, в Мозамбик и Анголу, а теперь лежащего в русской церкви под блеклой фреской с шестикрылым небесным духом.

Он рассеянно думал, что природа необъяснимых совпадений связана с невидимыми свершениями, осуществляемыми вне человеческого разума. Оставаясь неразгаданными и непознанными, они лишь временами попадают в поле зрения, словно мелькнувший под фонарем кусочек стены, мимо которой промчался по ночным непроглядным пространствам скоростной поезд.

Суахили был первоклассный разведчик, энтомолог, этнограф. Напоминал своей эрудицией офицеров царского Генерального штаба, которые наносили на карты речные броды, горные тропы, колодцы в пустынях, предвосхищая прохождение войск. Одновременно опи-

сывали нравы туземных племен, собирали гербарии, коллекционировали минералы, оставляя после себя изыскания, украшавшие библиотеки университетов и академий.

Суахили в бельгийском Конго ловил бабочек вблизи ракетодрома в джунглях, откуда запускались французские ракеты средней дальности. Захватывал в прозрачную кисею сачка редкие экземпляры африканских нимфалид и сатиров, при этом снимая баллистические характеристики ракет, беря пробы грунта, засекая время отсечки двигателей. Он был обстрелян, попал в контрразведку французов, наполовину потерял рассудок от пыток и через пять лет тюрьмы был обменян на агента французов, внедренного в военно-морской флот Югославии. Он, Суахили, отправлял Белосельцева в его африканский вояж, тонко управлял его действиями в пустыне Намиб и в устье реки Лимпопо. Оставил разведку в проклятые дни поражения, когда в свете голубых прожекторов краны снимали с постаментов бронзовую фигуру Дзержинского и она покачивалась в ночном небе перед горящими окнами Лубянки, как огромный висельник.

С тех пор они не виделись, как и многие из бывших сослуживцев, ушедших из помпезного здания госбезопасности, где угнездились предатели и агенты чужих разведок, которые вскрыли секретные сейфы и досье агентуры, овладели секретами государства, остановили биение сокровенного сердца Красной Империи. Говорили, что Суахили организовал какой-то фонд, помогает ветеранам разведки. Что он унес с собой списки заграничной агентуры в странах Африки и Латинской Америки. Что он пишет эзотерические стихи. Что его коллекция бабочек таит в себе коды агентурных сетей. Что он крестился. Что его видели в патриаршей резиденции. Что к нему за советом приезжают руководители банков и крупнейших нефтяных компаний. Белосельцев не проверял эти слухи. Удар, полученный им в дни проклятого августа, оглушил его на многие годы. Он жил, как контуженный, попавший под фугасный взрыв. Конечности оставались целы, внутренние органы продолжали служить, но в психике оказались разорванными тончайшие волокна и нити, связывающие его с бытием. Сторонясь сослуживцев, он жил, как отшельник в дупле, в постоянной дремоте.

Звонок Гречишникова, бывшего товарища, с кем вместе получали генеральские погоны и о ком почти не вспоминал эти годы, его дребезжащий, как стекло в подстаканнике, голос застигли врасплох. Мысль витала над Африкой, и весть о кончине Суахили свидетельствовала о движении таинственных, как облака, явлений, в которые Белосельцев был неявно включен. На него прохладно дохнуло опасностью. Он озираясь, стараясь понять, откуда, с какой вершины сорвался холодный порыв. Но лес доступных для обозрения явлений стоял недвижимый, в предосенней желтизне, и ни одна из золотых, вплетенных в березы гирлянд не шевельнулась от ветра. Он поднялся, готовясь извлечь из гардероба черный костюм, чтобы идти на отпевание в храм, затерявшийся среди московских переулков.

Снова раздался звонок. Еще не снимая трубку, не ведая, кто стремился заглянуть в его дом ранним утром, Белосельцев уже знал, что предстоящий разговор продолжит череду совпадений. Он неявно связан со звонком Гречишникова, со стихотворной строкой о небесных серафимах.

Говорил Прокурор мягким грассирующим голосом, словно в горле у него дрожала горошина, порождая целлулоидную вибрацию:

– Простите, Виктор Андреевич, за ранний звонок... Мы, кажется, сегодня собирались увидеться, но, увы, у меня безумный день... С утра иду в Кремль на встречу с Президентом... А потом коллегия... Хотел извиниться и перенести нашу встречу на другое время...

Горошина нежно рокотала в горле Прокурора. Белосельцев, слушая его, испытывал удовлетворение, похожее на тепло, которое разливается по телу от глотка горячего чая. Был открыт закон совпадений, и теперь лишь следовало подвести под него теорию. Прокурор, тоже собиратель бабочек, знавший о его уникальной коллекции, предлагал обмен – бабочку

из Южной Африки, пойманную Белосельцевым на границе с Намибией, на бабочку с Филиппин, купленную Прокурором на рынке Манилы.

– Может быть, встретимся в выходные дни?.. У меня на даче?.. Я пришлю за вами машину...

Смерть Суахили, посылавшего его в Анголу, в зону боев. Звонок Гречишникову, приглашавшего проститься с Авдеевым. Звонок Прокурора, мечтавшего получить в коллекцию бабочку из долины Кунене. Шестикрылые серафимы над гробом старика генерала. Стихотворная строка Гумилева, трепещущая, как синяя бабочка. Все было связано. Было драгоценными чешуйками смальты, выпавшими из огромной, не доступной глазу мозаики. По мерцающим кусочкам стекла не угадать всей мозаики, укрытой в черноте высокого купола. Надо ждать, когда сядет солнце и последний луч, идущий снизу вверх, на мгновение осветит купол храма. И тогда откроется лик.

– Такие выматывающие дни!.. Такая нервотрепка!.. У людей не остается времени на любимые занятия!.. – жаловался Прокурор доверительно, как близкому человеку.

Белосельцев слушал интеллигентный, мягко грассирующий голос, представлял лысоватую голову, осторожный, вкрадчивый взгляд, губы, аккуратно выбиравшие слова. Белесое, невыразительное лицо Прокурора часто появлялось на телеэкране, где он многословно и невнятно рассказывал о коррупции власти, намекал на самых высоких вельможных персон. Из многословья Прокурора невозможно было понять, о каких персонах идет речь, какова сущность их прегрешений. Газеты трескуче и бесстрашно писали о «кремлевских ворах», называли имена Президента, его плотоядных и деятельных дочерей, известных и нелюбимых в публике чиновников и банкиров, – все это вызывало мучительное, гадливое чувство. Словно в кремлевских палатах, среди малахита и мрамора, стоял бак нечистот и оттуда, из-за дворцовых фасадов, белокаменных наличников и лепных карнизов, по ржавым трубам сочилась зловонная жижа.

– Я наслышан о вашей коллекции, – продолжал Прокурор. – Если мы, простые смертные, покупаем бабочек в зоомагазинах Сан-Паулу или Лагоса, то вы, как я слышал, собрали коллекцию на полях сражений, держа в одной руке сачок, а в другой автомат... Мечтаю взглянуть на ваши трофеи!

– Буду рад вас принять у себя. – Белосельцев осмотрел свою неприбранную гостиную, прикидывая, сколько времени потребуется на то, чтобы распахать по полкам скопившиеся на столе и тумбочке книги, кинуть в гардероб задержавшиеся на стульях пиджаки и галстуки, загнать в совок легкие катышки пыли, уютно свернувшиеся по углам. – Назначайте день, и мы непременно встретимся.

– Позвоню вам чуть позже, Виктор Андреевич, когда поутихнет нервотрепка... Бабочки – единственная отрада!.. Слово-то какое – бабочки!.. – Он нежно и весело засмеялся, и в этом смехе почудилось Белосельцеву утонченное сладострастие, искусно скрываемое под благопристойным выражением лица, сине-серебряными позументами прокурорского мундира, завуалированное рисунком тщательно подобранных фраз.

Положив телефонную трубку, Белосельцев вернулся в кабинет и стал рассматривать коробку ангольских бабочек, среди которых большие пепельно-красные с жемчужными пятнами нимфалиды были пойманы им на дороге, где горела и дымилась броня, лежали обгорелые трупы и на теплое зловонье воронок, на ядовитые газы взрывов летели бабочки. Они опускались на опаленные вмятины, и он брал руками их опьяненные мохнатые тельца, страстно стиснутые перепонки. Хватал за красные кончики крыльев.

Закон совпадений был необъясним с точки зрения трехмерного мира, классической логики, причинно-следственных связей. Для его объяснения требовалось знание иных измерений, где в огромных, многомерных объемах случались события наподобие вселенских

взрывов, от которых в земную жизнь падала лишь легкая тень. Вдруг засыхал цветок. Меняла русло река. Старику снилась его молодая мать.

Белосельцев чувствовал, как его захватило прозрачное дуновение осени, источавшей перед бурями и жестокими ночными дождями мучительную красоту увядания. И нужно замереть, не противиться ветру, а лететь, как легкое пернатое семечко, – из сухого соцветия, через забор, через крышу, в необъятное туманное поле.

Он перепутал время отпевания и пришел в храм на час раньше, когда там текла медленная немногочисленная служба. В воздухе, среди бледных свечей, неярких лампад, была разлита все та же едва уловимая желтизна близкой осени. Неяркое, блеклое пение, выцветшие женские платки, тихие печальные лица, седая воздушная борода священника, сусальный иконостас из виноградных плодов и листьев, струящийся, отекающий, словно переполненные медовые соты, – все было в голубовато-желтой дымке, которая приплыла сюда с далеких опушек, скошенных лугов, волнистых осенних полей.

Он встал в стороне, под невысокими сводами, где были нарисованы деревья, цветы, среди которых, похожие на травяные и цветочные стебли, притаились ангелы, пророки, апостолы, с головами, напоминавшими подсолнухи, в одеждах цвета увядшей листвы. Перед ним возвышался медный подсвечник, отражавший круглые огоньки свечей, а сами свечи с острыми язычками и капельками расплавленного воска тихо, бездымно горели. Тут же стоял большой деревянный стол с грудями яблок – красных, желтых, зеленых, которые будто бы появились здесь из небесных садов, принесенные садовниками в плетеных корзинах. Сами садовники с нимбами смотрели из райских кущ, протягивая руки, предлагая Белосельцеву дары. Плоды на столе источали благоухание, вокруг каждого яблока был легкий светящийся нимб, и осы, прилетевшие в церковь на запах яблок, переполненные сладостью, вяло ползали по коричневым доскам стола.

Белосельцев испытал умиление и печаль. Храм был садом, куда в раннее утро, под цветущую белизну яблонь, приносили розовых младенцев. Где блистающим солнечным летом, под тяжелой глянцевиной листвой, венчали женихов и невест, поднося им блюда ароматных плодов. Куда под зимней холодной зарей, среди голых льдистых стволов, на хрустящий снег ставили гроб, и русская поэмка шевелила бумажный венчик на белом лбу мертвеца.

Белосельцев обернулся. На стене, над входом, он увидел фреску Страшного суда. Огромный жилистый червь прогрыз Вселенную, как переспелое яблоко. Он залег в червоточине, изгибаясь складчатым телом. Продырявленное мироздание сгнивало, поедаемое прожорливой гусеницей. Вокруг гибнущего, готового отломиться и упасть яблока летали духи света и тьмы, словно крылатые муравьи. Они сшибались с тихим шелестом слюдяных черно-белых крыльев. Бились за добычу, за душу усопшего, похожую на белую мучнистую личинку. Этой личинкой была душа генерала Авдеева, которого везут отпевать по московским утренним улицам. Или душа Белосельцева, которая еще дремлет в дупле утомленного бременного тела.

Он изумлялся наивному живописцу, изобразившему жизнь человека, его страсти и похоти, любви и битвы, прозрения и погружение во тьму как сражение крылатых существ, излетающих из нагретого солнцем термитника. Колонна батальона «Буффало», пылящая по каменистой дороге. Ночь в отеле «Полана» с африканской женщиной, чьи лиловые соски были сладкими от земляничного сока. Казнь на пыльном плацу, когда погонщики гнали по кругу пленного, пока тот не рухнул и у него изо рта не хлынула алая кровь. Душа на фреске была похожа на тряпичную детскую куклу с нарисованными глазами и ртом. Духи света и тьмы бились за нее, как сердитые дети, а душа безмолвно и равнодушно взидала.

– Змей в Москву через метро пролез. Так и знай, метро – гнездо Змея. Сперва под Москвой туннель выкопали. Потом туда Змей пролез. А уж после внутри Змея поезда пустили.

Едешь в метро – смотри зорче. За окном кишки Змея и слизь капает. Если хочешь убить Змея, взорви метро. Только делай с умом, ночью, когда весь народ уйдет и поезда встанут. Тогда Змей просыпается и в Кремль дорогу точит. Тут его и рви. Закладывай мину в трех местах – на «Театральной», на «Кутузовской» и на «Войковской» – и рви одной искрой разом. Тогда убьешь. А так не старайся. Он хитрее тебя.

Эти слова произнес за спиной Белосельцева тихий голос, принадлежавший невысокому сероватому человеку в сереньком потертом пиджаке, словно в складках его лежала едва заметная пыль дорог или остатки мельничного помола. Лицо его было выцветшим, бескровным, с маленьким носом и невыразительным ртом. И с огромными тихими глазами серого мягкого цвета, какой бывает у летнего неба, сквозь которое сеется теплый дождик и ровный греющий свет. Смысл слов был дикий и безумный, но лицо было спокойное и доброе, и глаза смотрели так, словно он знал Белосельцева прежде и теперь радовался встрече.

– Которые в метро ездят, те Змеем укушены. В мозгах яд. Хотят Мавзолей сломать по наущению Змея. Ленин Кремль сторожит, встал на пути Змея, не дает проползти. Как Ленина уберут, так Змей Кремль обовьет, хвост с головой свяжет, и конец России. Которые укушены Змеем, хотят из стены героев вынуть, которые за Отечество жертву принесли. Они не пускают Змея. Как только их уберут и Ленина вывезут, так России конец. Ты различай народ, который по наущению Змея, а который плачет, а Змея не пускает.

Человек говорил тихо и убедительно, как будто давал наставления, как пользоваться нехитрым инструментом, стамеской или лопатой, чтобы их ловчее держать, производить работу с наименьшей затратой сил. Белосельцев всматривался в его спокойное бледное лицо, поначалу решив, что перед ним тихий сумасшедший, от которого нужно отойти. Но глаза человека были умны, добры, угадывали в Белосельцеве его печаль и растерянность. И Белосельцев решил, что перед ним один из народных мудрецов и пророков, которые во все века появляются на папертях русских церквей, словно их рождает одна и та же невидимая, тихая женщина, плодоносящая в глубинах русской жизни.

– Чтобы Змею вокруг Кремля сомкнуться, ста шагов не хватает. Пойди, сам промерь. Мавзолей от угла к углу аккуратно сто шагов. Я мерил. Раньше караул стоял, штыками отпугивал. Теперь пусто. Я сторожу. Раньше России солдат был нужен, генерал, космонавт. Инженеров и писателей требовалось. А теперь сторож нужен. Одному тяжело. Приходи, подменишь меня. Будешь сторож. Станем в две смены дежурить. А не то проползет.

Белосельцев вдруг почувствовал, как его вовлекает в бесшумную воронку, куда, сворачиваясь, устремлялось пространство и время, и он, лишаясь воли, испытывая головокружение и мучительную слабость, утекает в эту воронку, теряя телесность, превращаясь в длинный блестящий ручей. Подумал, что лучше ему отойти, покинуть храм, оставить сероглазого юродивого перед фреской, грудой яблок, коричневым, вырезанным из елового корня распятием. Но не было сил. Воля его, как струйка ртути, утекала в воронку, и он, испытывая сладость падения, слушал невнятные речи.

– Узнай тайну Змея, тогда и убьешь. Без тайны убить невозможно, только жизнь потеряешь. Герой, который Змея хочет убить, тот мученик. Молитвой его не взять. Автоматом Калашникова, системой «Град» и мощами Серафима Саровского. Тогда попробуй. Защитники Дома Советов хотели убить Змея, но тайны не знали, и он их убил. Кого пожег, у кого ум отнял, а кого Змеем сделал. Спорили, кто Христос, а кто Сталин, а Змей их вычислил. В этом тайна.

Белосельцеву хотелось внимать, не разгадывая премудрость блаженного, следовать за ним по пятам по дорогам, по папертям, от погоста к погосту, вслушиваясь в его шелестящие речи. Ночевать в стожках, кормиться у сердобольных людей, стоять у церковных ворот с медной кружкой, слушая бормотание старух, завернувшись в дырявую ветошь. Забыть, откуда он родом, как его звать, какие грехи и проступки совершил на своем веку. Без памяти

и без имени брести по бесконечному русскому тракту, где замерзшая грязь в колее и репейник на снежной обочине.

– Царя жиды умучили, а Сталин умучил жидов. Знал тайну Змея. Он войну выиграл и спас русских. Он жертву принес, сына родного отдал, а о себе не подумал. Сталин святой, и Победа его святая. От его Победы в новом веке новая Россия пойдет, а старой России тоже конца не будет. Умом не понять.

Белосельцев испытал блаженство, связанное с потерей воли и успокоением разума, который вдруг умолк, как умолкает переполненный птицами куст перед заходом солнца. Ему хотелось смотреть в глаза блаженного человека и плакать беззвучными слезами не боли, не умиления, а тихого сострадания всем, кто пришел в этот мир, обрел в нем свое имя и плоть, движется среди моря житейского, чтобы неизбежно исчезнуть, оставив после себя чуть слышный, исчезающий звук.

– Жертва нужна, чтобы Змея убить. Все Христа ждем, чтобы он снова за нас жизнь отдал, а сами забыли, как жертвовать. Ты пожертвуй, как капитан Гастелло, и взорвешь Змея. А то с красным знаменем по городу ходишь на потеху Змею, а жертвовать не желаешь. Возьми яблоко. – Он вынул из-за спины и протянул Белосельцеву большое румяное яблоко, держа его в черных, замасленных пальцах, какие бывают у слесарей и авторемонтников. – Не бойсь, оно чистое, без червя. Меня зовут Николай Николаевич. А ты не бойся, плачь, коли хочешь.

И, оставив в руке Белосельцева яблоко, он ушел в проем церковных дверей, словно оплавился солнцем, и исчез. А Белосельцев остался, держа светящийся плод, чувствуя, как близки слезы, изумляясь таинственной череде совпадений, в которую был ввергнут.

Снаружи, на церковном подворье, зашумело, надвинулось, потемнело. Дверь заслонилась, и два сильных, нецерковных молодых человека внесли крышку гроба. Прошли мимо Белосельцева, озабоченные, работающие, прислонили крышку к стене. Генерал Авдеев прибыл, извещая о своем появлении деревянной, дубового цвета, лакированной крышкой с толстыми медными ручками. Белосельцев, глядя на крышку, удивлялся ее стилистическому сходству с тяжелым рабочим столом в генеральском кабинете, с деревянными сталинскими панелями, с темнокожим, похожим на кита диваном, на котором был вырезан деревянный герб государства. Явилась странная мысль, что генерал, не желая расстаться с дорогим ему интерьером, завещал изготовить гроб из панелей стола и дивана, а оставшийся дубовый материал пустить на отделку нового, уготованного ему кабинета...

Внесли венки из живых цветов с черными и красными лентами – от родных, от ветеранов разведки, от Академии наук. Один венок привлек внимание Белосельцева. Среди красных роз вяло лежала черная с серебряными буквами лента с надписью: «От соратников по борьбе». В этих словах был таинственный знак, задевший сознание Белосельцева, который никогда не называл свою работу в разведке борьбой, а своих начальников и подчиненных – соратниками.

Шумно, с оханьем, с шарканьем ног, вшестером, внесли тяжелый гроб, напоминавший дорогой старомодный комод со множеством ручек и ящичков, в которых, если их выдвинуть, увидишь старые крахмальные скатерти с кружевной бахромой, форменные сюртуки и камзолы, пересыпанные снежными хлопьями нафталина, фамильное серебро с потемневшими монограммами. Гроб поставили на деревянные лавочки у стены, на которой высоко, раздувая щеки, выдыхая струи света, парил шестикрылый дух.

«О тебе, моя Африка, шепотом в небесах говорят серафимы...» – возникло в уме Белосельцева, пока устанавливали ребристый, с багетами и бронзой, гроб. Генерал Авдеев, Суахили, как нарек его когда-то Белосельцев, лежал под белой пеленой с бугорками разведанных ступней и сложенных на груди ладоней. Остроносая, с клювиком, с редким седым пухом

голова делала его похожим на мертвую птицу, которую в детстве хоронили в укромном углу двора, выкладывая ей склеп фарфоровыми черепками и стеклышками, заворачивая холодный комочек с зябко поджатыми коготками в лист подорожника. И это сходство, и маленькие, жалобно стиснутые губы, и коричневые выпуклые веки, в которых скрывались белые ядрышки глаз, и проступившие сквозь покрывало костяшки пальцев вызвали у Белосельцева острую жалость, и не только к мертвецу, потерявшему в смерти свой человеческий облик, превращенному в птицу, но и к себе самому, беспомощному и безгласному, участвующему в погребении птицы.

В церковь входили родственники и друзья. Печальная, с лиловатым оттенком, вдова – рыхлая, обессилевшая старуха, ведомая под руки стареющими детьми – выцветшей художавой дочерью и понурым, бледным сыном с фиолетовыми подглазьями. Им сопутствовали печальные старики обоих полов, пугливые подростки и дети, какие-то понурые домочадцы, няньки, сиделки и бонны, словно все они явились из какого-то обветшалого поместья, из бедной, густо населенной усадьбы.

Но вдруг среди этих незнакомых персон Белосельцев увидел знакомого – генерала Буравкова, начальника управления, сослуживца Авдеева. Он вошел, высокий, сутулый, с широкими, словно из досок сделанными плечами, на которые был надет дорогой черноатласный пиджак, виднелась белая, с легкими кружевами рубашка, дорогой строгий галстук, поблескивающий редкими зелено-красными искрами. Он почти не изменился за годы – сильное, грубое лицо, большой, тяжелый нос, продолжавший линию лба, строгие, нелюдские глаза под приспущенными вялыми веками. Он, как и покойник, был похож на птицу, только живую, озабоченную, быть может, пеликана, скрывавшего под шелковой рубашкой свой кожаный розоватый зоб. Белосельцев не видел его десять лет, с тех пор, как в проклятый год рассыпали и разгромили могущественную организацию разведки. Знал, что Буравков возглавил службу безопасности известного телемагната, превратил эту службу в блистательный инструмент разведки, пугая соперников магната всеведением, активными мероприятиями, сложными комбинациями, в которых была замешана верховная власть и политика, создавались и разрушались репутации первых лиц государства. Буравков встал у гроба поодаль, печально склонив тяжелый нос, словно пеликан на мелководье, опустивший клюв к воде, глядящий на свое отражение.

Среди входивших Белосельцев узнал Копейку, другого генерала разведки, ушедшего из организации незадолго до краха, словно он предчувствовал неминуемый позор и исчез, не дожидаясь крушения. Позже, когда, подобно огромным слизнякам и скользким древесным грибам, стали плодиться концерны, корпорации, банки, поедая своими грибницами жирные остатки страны, Копейка возник как советник нефтяного царя. Помогал ему проглатывать фирмы соперников, захватывать нефтяные трубы, заводы и нефтехранилища, устранять конкурентов, одни из которых разорялись, а другие сгорали в подорванных джипах или ложились на кафель моргов с огнестрельными ранами в головах. Его круглая, опущенная сединой голова, расширенные глаза, маленький крепкий нос, клювом опустившийся к губе, делали его похожим на мягкую большую сову. Это сходство поразило Белосельцева, будто бы все они, входившие сюда, были представители пернатых, явившиеся на погребение вожака птичьей стаи.

И уже без удивления он узнал Гречишникова, напоминавшего лесного голубя – витютня с сильной выпуклой грудью, маленькой головой с хохолком и круглыми глазами. Еще большее сходство с голубем ему придавали движения гладкого, сытого тела, которое двигалось и влево, и вправо, словно тот хотел и не решался взлететь.

Гречишников тут же углядел Белосельцева. Подошел, протягивая руку, накрывая ладонь Белосельцева своей белой большой ладонью. Грустно-торжественный, в длинном, напоминавшем смокинг пиджаке, соответствующем печальному обряду, будто Гречишни-

ков столь часто хоронил знакомых, что обзавелся для этого повода специальной ритуальной одеждой.

— Хорошо, что пришел, Виктор Андреевич... Многие наши пришли... Нужно проводить командира... — Он отошел ближе к гробу, и оттуда, из сумерек, поглядывал на Белосельцева своими разноцветными, как стеклянные пуговицы, глазами.

Церковь наполнялась. Среди людей, обступивших гроб, Белосельцев узнавал бывших сослуживцев, обменивался с ними поклонами, движениями глаз или беглыми, мимолетными рукопожатиями. Тех же, кого он не знал в лицо, он безошибочно отличал от других сходством с какой-нибудь птицей — фазаном, беркутом, снегирем. Он и сам был какой-то птицей, быть может, изнуренным, утратившим перламутровые переливы скворцом, с оббитым клювом и обтрепанными в перелетах перьями. Все они слетелись из далеких лесов, осенних полей, ржавых болот, холодных лесных озер, чтобы проводить в последний полет жожака, который, как египетский бог, с птичьей головой и человеческим телом, покоился в гробу, куда сырыми пахучими кипами ложились букеты цветов.

Саркофаг, куда поместили бога, был ладьей, и она отплывала, раскачивая головки белых лотосов, по желтому течению Нила, по коричневому мутному Нигеру, по латунной волне Меконга, по красной Рио-Коко, по сиреневой струе реки Кабул, по прозрачной синеве Великой, с белыми церквами и звонницами. И все они, обступившие гроб, были гребцами, дружно гребли на *ту* сторону, оставляя в воде крохотные буруны и воронки. Батюшка в блеклой ризе, читавший подслеповато раскрытую книгу, был перевозчик. Белосельцев слушал тихие рокоты, возгласы, вздыхания, не стараясь проникнуть в смысл отдельных слов и речений, произносимых на священном, родном языке. Он глядел на воды, куда погружались весла дружных гребцов. Большая остывшая птица лежала в ладье, они проплывали селенье, стоящее на берегу Лимпопо, и чернолицый рыбак показывал им светлую длиннохвостую рыбину.

Белосельцев смотрел на лоб генерала Авдеева, покрытый бумажной церковной ленточкой, и было больно смотреть на этот желтоватый лоб, смиренный клочком легковесной бумажки, некогда горячий и сильный, в котором рождались яростные идеи и мысли, утонченные комбинации, витали стихи Гумилева и строки африканского эпоса.

Белосельцев смотрел на людей, обступивших гроб, узнавая среди них сослуживцев. Они постарели, у них изменилась осанка и внешность. Иные из них выглядели как уважаемые работники банков. Другие обрели профессорскую солидность. Третьи вольно повязанными галстуками и седоватыми, до плеч, волосами напоминали художников и артистов. И только неумовимое в каждом сходство с птицей делало их членами одного сообщества.

Тот полный понурый господин с пухлыми пальцами, на которых красовался тяжелый алмазный перстень, руководил военной контрразведкой, и последнее дело, которым он занимался, было связано с исчезновением ранцевых атомных боеприпасов, предназначавшихся для боевых пловцов. Стоявший поодаль моложавый старик с артистической прической и золотой булавкой в шелковом галстуке занимался высылкой из страны вольнодумцев, помещая их ненадолго в тюрьму, а потом провожая на самолеты в Германию, Францию и Израиль. Румяный и благодушный толстяк, не умевший изобразить на плотоядном лице погребальную печаль, специализировался на раскрытии экономических преступлений, подведя под расстрел нескольких ловких валютчиков, а в последние месяцы доживавшей свой век страны переправлял в швейцарские банки деньги, принадлежавшие партии. Здесь был маленький, смуглый, как индеец, полковник, готовивший боевиков для Фронта Фарабундо Марти и колумбийских повстанцев, часть из которых, сохраняя верность марксизму, занималась наркоторговлей, отравляя кокаином ненавистную Америку. Тут же присутствовал болезненный резидент из Бенилюкса, высланный из Брюсселя как персона нон грата, оставивший в Цен-

тральной Европе разветвленную сеть агентуры, которая притихла под вывеской торговых фирм и рекламных агентств. Сюда, в православный храм, словно на явку, сошелся цвет советских разведчиков для получения инструкций, которые были написаны церковнославянскими буквами на бумажной ленточке, прикрывшей лоб мертвеца.

Белосельцев рассеянно слушал акафист на исход души, оглядывал храм, и сквозь синий пахучий дым, колебание свечей, черные платки и траурные накидки смотрели на него зоркие оранжевые глазки витютня. Гречишников наблюдал за ним. Его утренний звонок, их встреча у гроба были не случайны. Они имели продолжение. Вбирали в себя множество больших и малых событий, уже случившихся и тех, что были готовы случиться. Описывались всемирным законом совпадений, столь же фундаментальным, как и закон тяготения.

Запах оранжерейных цветов и сладкого дыма, тягучее чтение, похожее на рокошущие песнопения, отражение свечей в начищенной меди, икона Всех Святых, напоминавшая разноцветными плащами и нимбами, стройными рядами и контурами коробку с бабочками, в которой краснела африканская нимфалида, действовали на Белосельцева как наркоз. Он чувствовал себя так, будто медленно отрывался от пола, подымался к шестикрылому духу и парил горизонтально над гробом, в клубах голубоватого дыма.

Они на ладье пересекали блестящую быструю воду, стремились на другой берег, повитый туманом, где был *иной* мир, иной воздух и свет, в котором они потеряют свои очертания, перестанут быть собой, попадая во власть иных, неведомых сил. И надо успеть приготовиться, что-то понять и вспомнить, кого-то простить, у кого-то просить прощения перед тем, как исчезнуть. Навсегда распрощаться с этим прекрасным миром, в который вбросила его чья-то благодатная могучая воля и теперь отзывала обратно.

Ему казалось, он запаян в огромный кусок стекла. Остановившимися, остекленелыми глазами он видит каменистую горячую гору с протоптанной белесой тропинкой, на плоские плиты песчаника ступает босая стопа – запыленные, грязные пальцы, набухшая жила, царапина от придорожной колючки. Худой человек несет на плечах распятие, ловит открытым ртом обжигающий воздух, смотрит на пыльное солнце. Следом солдаты устало несут длинные копыя, мятые щиты, ведро с уксусом, ящик с гвоздями. И быстрая зеленая ящерка пугливо метнулась под камень.

Белосельцев пережил этот миг ясновидения как оторвавшуюся от прошлого частичку времени, в которой отразилась гора, пыльное солнце, глоток жара, опаливший гортань человека, звяканье копыя о ведро и крохотная пугливая ящерка.

Словно песчинка пронзила висок навывлет, унесла с собой в прошлое часть его бытия. Он вернулся в храм, в клубы сладковатого дыма, в котором лежал покойник. Священник дрожащим певучим голосом возглашал: «И де же несть болезней, печалей, воздыхания...»

«Что же делать в оставшиеся дни на земле? – думал Белосельцев, глядя в мертвое лицо Суахили, похожее на камушек с клювом. – Какой совершить поступок, чтобы стать угодным Творцу? Какими деяниями окончить исчезающий век? Как почувствовать, что услышан? Что поступок твой верен, прощение получено, отпущение грехов состоялось?»

Эти слова он обращал к умершему генералу Авдееву, который отправлял его в опасные странствия, а теперь сам уплывал в невозвратное плавание, оставляя на земле своих учеников и соратников. Священник колыхал кадилом, развешивал в воздухе вялый дым. Люди кланялись плывущим дымам, крестились. Белосельцев поднял руку ко лбу. Медленно, продолжая вопрошать генерала, перекрестился, прижимая пальцы к животу и обоим плечам. И почувствовал крестовидный ожог. Словно крест-накрест по голому телу хлестнули крапивой. Крест горел под одеждой, и это был ответ генерала, данный из гроба. Прощальное назидание, посланное с того света.

Гроб подняли, понесли к дверям. На полу остался лежать оброненный из гроба цветок.

На Ваганьковском кладбище печальные запахи тлена и ржавчины витали среди унылых деревьев. Распахнутая на две стороны могила была похожа на открытый рот с коричневыми губами насыпанной пухлой земли. Ловкие, похожие на матросов могильщики опустили на веревках гроб. Глухо застучали комья о крышку. Его, Белосельцева, пальцы были испачканы красноватой землей, похожей на землю Африки. В грубый влажный холм воткнули черенки букетов, положили сырые венки. Медленно стали таять собравшиеся у могилы люди, многим из которых больше не суждено было встретиться.

– Виктор Андреевич, тут мы решили узким кругом помянуть командира, – Гречишников остановил его на кладбищенской аллее, кивнув на стоящих поодаль Буравкова и Копейко. – Присоединяйся... Подыдем рюмку за Суахили... – И, не дожидаясь ответа, взял Белосельцева под руку, повел мимо гранитных памятников и железных крестов.

Глава вторая

Они уселись в тяжелый просторный «Мерседес» с немолодым молчаливым шофером в кепке и водительских перчатках. Судя по тому, как Копейко открывал перед остальными тихо чмокающие дверцы, а сам уселся впереди, рядом с шофером, и что-то негромко тому приказал, дорогая машина принадлежала ему. Погрузившись в глубокое мягкое сиденье, не стесненный двумя другими пассажирами, Белосельцев, после печальной, с тихими дымами и яблочными ароматами церкви, после сырого, с истлевающими венками кладбища, оказался в теплом уюте кожаного салона, пахнувшего кожей, одеколоном, дорогим табаком, среди циферблатов, лаковых покрытий, негромкой бархатной музыки, которая влилась в ровный рокот мощного двигателя, мягко толкнувшего машину в шумящий поток улицы.

— Семья приглашала к себе домой, на поминки, но мы решили отдельно, узким кругом, кого особенно любил командир. — Гречишников, отдыхая от многолюдья, наслаждался комфортом салона, радовался их тесной компании, был объединяющим центром их маленького сообщества. — А тебя он особенно любил, Виктор Андреевич, выделял. И недавно, за несколько дней перед смертью, спрашивал о тебе.

— Он ведь не многих любил, не многих к себе приближал. — Буравков достал дорогой портсигар, извлек сигарету. Он стал рыться в карманах в поисках зажигалки, и Копейко с переднего сиденья протянул ему золотую зажигалку, от пламени которой затеплился, задымил кончик ароматной сигареты. — Он был едкий, насмешливый. Когда представлял меня к ордену Красной Звезды, сказал: «Смотрите, Буравков, как бы после вашего общения с еврейскими диссидентами у красной пятиконечной звезды не вырос желтый, шестой конец».

— Он действительно вас любил, Виктор Андреевич. — Копейко повернулся круглой седой головой, протянул крупную белую руку к золотому портсигару Буравкова. — Я даже ревновал, когда он нам ставил в пример ваши аналитические разработки. — И, отвернувшись, распустил над стриженной головой мягкий аромат табака.

Белосельцев удивлялся доверительной, почти задушевной близости, которая чувствовалась в отношениях Копейко и Буравкова. Они были в разных станах. Служили у двух воинственных всемогущих магнатов, ведущих между собой беспощадную, на истребление, войну. Магнаты владели несметным богатством, имели собственные телевизионные каналы, подчиняли себе политические партии, спецслужбы, комитеты и министерства. Вели борьбу за высшую власть в стране, используя самые жестокие и изощренные приемы, которые разрабатывались для них Буравковым и Копейко. В ходе этой борьбы раскалывалось общество, разрушались корпорации, вспыхивали забастовки, возникали уголовные дела, бесследно исчезали люди, взрывались лимузины, и страна, приныкая к телевизионным экранам, видела отражение схватки в неутихающей интриге, направленной на больного, окопавшегося в Кремле Президента, которого травили и выкуривали недавние друзья и союзники. Буравков и Копейко были стратегами, ведущими многоплановое, с переменным успехом, сражение. Они создавали технологии ненависти. Погружали в ненависть две половины растерзанного, обозленного народа. Сейчас, удобно поместившись в салоне дорогого «Мерседеса», они радушно угощали друг друга вкусными сигаретами, протягивали один другому огонек золотой зажигалки...

— Очень хорошо, что мы тебя встретили, Виктор Андреевич, — Гречишников искренне радовался воссоединению с Белосельцевым после многих лет отчуждения. — Авдеев был бы рад, увидев нас вместе...

За окнами удобной, плавно идущей машины мелькала, золотилась Москва. Прошли, словно пролетели на мягких крыльях, Беговую с конями и колесницами, напоминавшими императорский Рим, Ленинградский проспект, запруженный автомобилями, трущимися

друг о друга, как рыбыны, переполненные икрой и молокой, стремящиеся на нерест. «Мерседес» вынырнул из-под их блестящих рыбьих боков, включил фиолетовый сигнал, роко-чущую сирену, устремился дальше, огибая медлительный, ленивый поток. Тверская, наряд-ная, предвечерняя, брызгала рекламами, витринами, изображениями пленительных женщин в бриллиантовых колье, уверенных, знающих цену хорошим табакам и одеколону мужчин. Белосельцеву было хорошо ехать на мощной, мягко ревущей машине мимо своего дома, оглянувшись на склоненную голову Пушкина, зеленую от патины в волосах и складках плаща. Малиновый торжественный дворец и бронзовый князь напротив породили мимолет-ное впечатление детства, когда с мамой переходили полупустую, голубую от воды улицу Горького, и у мамы в руках был цветок. На спуске ринулись на красный свет, зло огрызаясь тигриным рыком на постового. Скользнули в драгоценное, единственное на земле простран-ство, где было ему всегда радостно от сменявших одна другую картин Манежа, розовой Кремлевской стены с бело-желтым дворцом, Большого театра с черной квадригой, напоми-навшей заостренную набухшую почку, готовую распусться темно-красной сочной розой.

Здания на Лубянке, торжественные, венчавшие взгорье, все еще чем-то принадлежали ему – пропорциями, ритмом высоких окон и теми волнующими впечатлениями, когда он выходил из тяжелых дверей и тут же, у порога, на влажном асфальте, по которому торопи-лись не замечавшие его москвичи, начинались его опасные странствия – в Афганистан, в Кампучию, в Анголу, в Никарагуа, на иные континенты, стянутые незримыми стропами с этой площадью, на которой в дождь, в снегопад, в раскаленный московский жар стоял кони-ческий бронзовый памятник, точный и звонкий, как метроном, хранивший в своей металли-ческой сердцевине грозный звук походного красного марша. Площадь была пуста, памятник был сметен, и эта пустота вызывала больное, щемящее чувство, похожее на вину и нена-висть, от которых хотелось поскорее избавиться, миновав оскопленную площадь.

Они отделились от скользкого блестящего месива, нырнули в переулок под запреща-ющий знак. Невозмутимый водитель в старомодном кепи и перчатках с раструбами вел машину в теснинах торговых зданий, словно раздвигая лепные фасады хромированным радиатором, как ледокол, оставляющий за собой полынью. Проехали с тыльной стороны ГУМ, у которого разгружались машины с товарами, сбрасывая в ненасытную утробу подва-лов тюки и ящики. Выскочили на Красную площадь, мимо постового, скользнувшего взгля-дом по номеру и отдавшего честь. Помчались по хрустящей брусчатке вдоль зубчатой стены и синих конических елей так, словно хотели въехать в Спасские ворота, отчего у Белосель-цева возникло чувство тревоги, будто его против воли увлекали в опасную сторону, к розово-седой громаде. Башня походила на высокую каменную ель, пересыпанную снегом, с мороз-ными завитками и чешуйчатыми крепкими шишками, среди которых золотилось, просвечи-вало туманное солнце часов. Пролилась хрустально-скрипучая трель, словно сосну качнуло высоким ветром.

– На прием к Президенту? – усмехнулся Белосельцев, глядя в сквозную глубину ворот, где уже виднелись удаленные купола соборов.

– Не совсем, – весело рассмеялся Гречишников, с удовольствием подметив тревогу Белосельцева.

«Мерседес» скользнул в тень Лобного места, почти уткнувшись в стоцветный камен-ный куст Василия Блаженного, на котором, как на осеннем чертополохе, грелись в последнем солнце огромные, красноватых оттенков, бабочки – павлины, адмиралы, перловицы, сонно перелетали с купола на купол, лаская чуткими лапками каменные соцветья.

– Приехали! – бодро сказал Гречишников, когда машина встала у здания возле Лобного места, причалив к старинному каменному парапету. – Прошу в резиденцию Фонда!

Вслед за Гречишниковым они вошли в малоприметную дверь, за которой их встретил охранный пост. С короткими стрижками молодцы в слегка разбухших пиджаках улыбнулись Гречишникову, осмотрев Белосельцева глазами немецких овчарок. Прозрачный лифт, похожий на кристалл горного хрусталя, вознесся на этаж, где молчаливый служитель ждал их появления. Он повел их по гулкому коридору, мимо закрытых дверей с золотыми набалдашниками ручек. Отворил створки, и они очутились в просторной комнате, ослепительно новой, блистающей лаками и хрусталями.

В стороне на маленьком столике было тесно от телефонов – красных, белых, зеленых, с циферблатами, кнопками или абсолютно гладких, для единственного таинственного абонента. Казалось, хозяин пользовался всеми видами связи, включая космическую и кабельную, проложенную по дну океана.

Посреди комнаты был накрыт стол на четыре персоны, блистающий белоснежной скатертью, фарфором, стеклом, серебряными вилками и ложками, на нем стояло множество рыбных и мясных закусок, нежно розовевших и белевших под прозрачными колпаками. Среди маринадов и разносолов поместилась батарея бутылок. Сквозь каждую падал на скатерть золотой или голубоватый блик. У края стояла большая фотография Авдеева в форме генерал-полковника, перед ней рюмка водки, накрытая корочкой черного хлеба. В скромном подсвечнике горела свеча.

– Прошу, товарищи, где кто хочет, – печальным голосом, соответствующим поминальной минуте, пригласил к столу Гречишников.

Белосельцев сел лицом к огромному, до потолка, окну и увидел собор. Сквозь прозрачное стекло приблизились главы, купола, колокольни. Они заглядывали строгими молчаливыми ликами, недвижными внимательными глазами. Словно большая семья пришла на поминки и ждала, когда ее пригласят. Деды, отцы и дети. Братья, сестры, племянники. Зятья, невестки и снохи. Расчесанные седовласые бороды. Отложные разноцветные воротники. Жемчужные ожерелья и серьги. Они смотрели на генерала Авдеева, на пылающую свечу, на рюмку, покрытую корочкой хлеба.

Откупорили бутылки, налили водку, положили на тарелки сочно-алые лепестки семги, нежно-белые, с золотистым жиром, ломти осетрины.

– Позвольте... – Гречишников поднялся, держа одной рукой рюмку, другой, волнуясь, оглаживая галстук. – Помянем нашего командира, нашего боевого товарища, нашего старшего друга!.. – Гречишников поклонился траурной фотографии, с которой холодно и спокойно наблюдал за ним генерал Авдеев. – Пусть земля ему будет пухом, и, как говорится, Царствие Небесное... Потому что незадолго до смерти командир крестился, и дома у него был монах из Троице-Сергиевой лавры, с которым они тайно беседовали... – Гречишников обращался теперь к собравшимся голосом твердым, окрепшим, превозмогшим боль потери. – Командир был человеком редких достоинств. Знаниям его во многих областях могли бы позавидовать академики. Он был гений разведки, свято любил нашу организацию. Ее заповеди, дух и законы были для него религией. Но превыше всего он любил Родину. Перенес ради нее великие муки, находясь в плену, в руках французской контрразведки, которая, вы знаете, испытывала на нем психотропные препараты... – Гречишников был строг и взволнован, и это волнение передалось остальным. – Нам будет его не хватать. Его главное дело было не то, которым он занимался, сидя в своем кабинете, когда страна была цветущей и могучей и мы, действуя каждый по своему направлению, верили, что стоим на страже ее интересов... Его главное дело началось после крушения страны, когда к власти пришли предатели и он нашел в себе волю и разум не сдаться... – Голос Гречишникова был металлическим, вибрировал от внутренней страсти, заставляя колебаться пламя свечи. Глаза дергались беспощадным жестоким блеском. – Его заветы в наших сердцах. Его дело будет продолжено. Мы победим и в час победы придем к тебе на могилу... – Гречишников вновь

обратился к портрету, встав навтыжку, прижав рюмку к сердцу, высоко подтянув локоть. – Придем к тебе на могилу и выпьем за нашу Победу!..

Он опрокинул рюмку в рот, открывая сухую, с острым кадыком шею. Все поднялись. Не чокаясь, глядя на фотографию, выпили водку. Некоторое время не садились, дорожа объединившей их минутой поминовения.

Белосельцева взволновала поминальная речь Гречишникова. Он снова был среди своих, в кругу боевых товарищей. Вновь обрел желанную, утраченную на долгие годы общность. Понимал друзей с полуслова. Был членом закрытой касты, связанной идеей служения, отмеченной наградами Родины, касты в рубцах и шрамах, невидимых миру, полученных на полях всемирных сражений за честь и безопасность страны. Но в услышанной речи были намеки, которые он не понял. Иносказания, которые не постиг. Загадки, остающиеся неразгаданными. И, чувствуя, как водка жарко и сладко озарила сознание, он вспоминал услышанные слова, отмечая среди них пропуски и намеки.

Проголодавшись, все жадно, с аппетитом ели. Подхватывали с блюд розовые ломти мяса, серебряными лопатками клали на тарелки заливное, вонзали вилки в говяжьи языки, поливая соусами, сдабривая хреном, горчицей.

Храм за окном изменил обличье. Он был похож на огромное блюдо, на котором выселись волшебные плоды, взращенные в небесных садах. Огромные мягкие ягоды, косматые чешуйчатые ананасы, сочные груши и яблоки, дымчатые гроздья винограда. Арбузы с вынутыми ломтями будто дышали красной мякотью, начиненной черными блестящими семенами. Дыни, как золотые луны, источали свечение. Блюдо плавало за окном, и хотелось протянуть вилку, поддеть рассыпчатую долю арбуза, схватить цепкими пальцами тяжелую гроздь винограда. Кто-то невидимый делал им подношение. Посылал дары благодатных небесных садов.

– Помню эту жуть в конце августа. – Буравков сдвинул на лбу страдальческие складки, утяжелившие и удлинившие его грубый обвислый нос. – Вся площадь внизу в ревущей толпе... Наркоманы, пьянь, педерасты... Машут трехцветными тряпками... Кран поддел памятник железной петлей за шею, оторвал от пьедестала... Прожектора на него навели, раскачивают, как на виселице... Нет сил смотреть... Полковник из контрразведки вбегает, держит винтовку: «Сейчас я их, сук, залуплю!»... Ставит на подоконник локоть, целит сквозь стекло... К нему подошел Авдеев: «Отставить... Сейчас не время... Сберегите себя для будущего... Когда можно их будет стрелять безнаказанно...» Полковник ему по сей день благодарен. Работает на пользу общего дела... – Буравков от выпитой водки и от мучительного воспоминания покрылся легкой испариной. Он сдвинул в сторону шелковый галстук, растегнул шелковую, отороченную кружевом рубашу, обнажив на груди седую, словно железную, поросль. Сильная рука его, охваченная белоснежной манжетой с малахитовой запонкой, уперлась локтем в стол. Он шевелил толстыми пальцами, словно оглаживал спусковой крючок винтовки.

– Помню... – Копейко разлил по рюмкам водку так полно, что над каждой образовалась выпуклая слюдяная линза. – Помню, когда Бакатин, предатель вонючий, сдал американцам посольство, и наши технари рыдали, потому что в каждом кирпичике было спрятано оборудование на миллион рублей, и один взрывник, спец по направленным взрывам, хотел ему стол заминировать, чтобы яйца ему оторвало и он летел из окна в синем пламени. Авдеев ему запретил: «Дождемся времени, когда всех предателей соберем на одну баржу – Горбачева, Шеварднадзе, Яковлева, и тогда вы их взорвете одним боеприпасом...» Вы знаете, о ком я говорю. Это он в Питере в прошлом месяце убрал джип «Чероки» так, что глушитель летел от Фонтанки до Мойки!.. – Копейко зло хохотнул, его круглая, стриженная, похожая на репей голова боднула воздух, и он быстро выпил блеснувшую водкой рюмку.

Белосельцев залпом осушил маленькую горькую чарку, вспыхнувшую внутри ровным жаром.

Упомянутые эпизоды были ему неизвестны. В те проклятые дни он работал в Дагестане, завершая обширный аналитический труд о подрывной активности на Кавказе, где усилиями турецкой и американской разведок терпеливо высевались споры мусульманского экстремизма, возвращалась агентура влияния, выстраивалась вдоль южных границ дуга нестабильности. После краха страны, разгрома Лубянки он подал рапорт и сразу ушел в отставку, спасая свой разум от помрачения.

Теперь он жадно слушал своих прежних товарищей, узнавая горькую правду тех дней, в которой угадывались умолчания, чудились недомолвки. Он чувствовал в разговорах едва заметные прогалы и пропуски. Отслеживал закономерность их появления. Пил водку, сладко пьянел, наслаждаясь вкусной едой и красивой сервировкой стола. Одновременно дешифровал лежащую перед ним криптограмму.

Храм за окном казался теперь огромной разноцветной машиной. Сверла, фрезы, винты. Отточенные, закаленные кромки. Сверхпрочные резцы и насадки начинали вращение, рокотали, вонзались в твердь, высверливая, буравя, выдалбливая. Летели голубые искры. Завивались раскаленные стружки. Осыпалась перемолотая крупа. Мир был деталью, в которой вытачивались неведомые формы и контуры. Мастер снимет деталь, кинет в шипящую воду, и она, остывая, засветится, как синяя брусчатка на площади.

– Помню, я пришел к нему в кабинет на доклад. – Буравков порозовел от выпитой водки. Умягченный вкусной едой, он говорил медленно, похожий на отяжелевшего пеликана, чей желтоватый зоб был наполнен пойманной рыбой. – Он подозвал меня ближе к столу, открыл тонкую папочку и показал схему, начерченную его рукой цветными фломастерами. «Вот методика передачи власти от Горбачева к Ельцину. Метод параллельного центра. Очень скоро должно случиться нечто, что разрушит основной центр и устранил Горбачева. И одновременно погубит страну. Мне остается понять, кто здесь играет ключевую роль. Быть может, тот, кто находится в нашем здании». Он поручил мне, в нарушение всех законов, в обход руководства, взять в разработку несколько высших чинов государства. С точностью до недели предсказал переворот. Знал, кто среди членов ГКЧП предатель...

– Он был гений, провидец... – издал странный цокающий звук Копейко, наклонив пушистую голову и став похожим на лесную серую сову. – Перед самым развалом он успел унести засекреченные списки агентуры. Спас сеть, которая теперь жива и работает. Успел закачать деньги в коммерческие фирмы, в фонды, перевел наличные счета в заграничные банки. Помните, как он говорил в июне, за месяц до обвала? «Сейчас задача всем уйти и рассыпаться. Уходите в бизнес, в общественные организации, в церковь. Затаитесь и переждите напасть. Будет время, я подам знак, и вы выйдете на поверхность...» Он был гений конспирации. Действовал быстро и точно, словно ловил сачком бабочку. – Копейко посмотрел на Белосельцева, желая этим сравнением подчеркнуть, что знает о его увлечении. Помнит о неформальной близости Белосельцева и Авдеева, основанной на энтомологии.

– Он тебя очень ценил, Виктор Андреевич, – Гречишников нацелил на Белосельцева оранжевые круглые глазки встревоженного витютня. – Говорил: «Берегите Белосельцева. Не вытягивайте его раньше времени. Только когда подойдет срок»... Он испытывал к тебе особую симпатию... Помянем командира...

Они снова выпили, бросив на скатерть зайчики света. В голове Белосельцева вставало светило, окруженное воспаленной зарей. Храм за окном парил в мироздании. Разноцветные лучистые солнца, синие туманные луны, планеты, окруженные кольцами, серебряные спирали галактик – все дышало, струилось, источало радуги в проблеске комет, метеоров. Неведомый мир выплыл из черной дыры, приблизился к стеклам, раскачивался в безвоздушном пространстве, разбрасывая разноцветные перья сияний.

– Вы хотите сказать... – Белосельцев чувствовал, как в его голове из-за темного горизонта восходит светило, окруженное туманной зарей, – хотите сказать, что существует тайная организация?.. Что все вы находитесь в связке?.. Что действует заложенная в прежнее время сеть?.. Что Суахили был главой организации?.. И вы пригласили меня, чтобы сообщить об этом?..

Гречишников приподнялся. На его розовом, разгоряченном лице появились белые пятна, словно на них нажали пальцами и выдавили кровь. Лоб был розовым, а переносица белой, твердой, будто обмороженной. Щеки розовели, покрытые едва заметной сетью склеротических капилляров, а скулы и желваки оставались белыми, цвета бильярдного шара. Подбородок розовел и дышал, но на его окончании белел твердый, будто вырезанный из кости набалдашник.

– Существует организация, существует тайный союз. Мы открываем тебе эту тайну. Суахили просил до времени не трогать тебя, и мы не трогали. Наблюдали, как ты маешься, места себе не находишь. Хочешь найти себя в политике, приходишь то к коммунистам, то к монархистам. Посещаешь их митинги, демонстрации и разочарованный, не найдя достойных лидеров, не увидев внятной политики, уходишь от них. Наблюдали твою неудачную операцию с поставками ракетной технологии Ирану, в результате которой погиб отважный человек, «афганец», генерал Ивлев, готовивший военный переворот. Быть может, и хорошо, что погиб, иначе сорвал бы нашу стратегию. Мы с сочувствием наблюдали твой скоротечный и мучительный роман, когда ты, как ангел, летал по Москве, а потом, обессиленный, стоял под ночными липами во дворе сумасшедшего дома, смотрел на окна палаты, где лежала твоя любимая. Мы хотели тебе помочь, но генерал Авдеев просил не трогать тебя. Ждать, когда ты понадобишься...

Белосельцев испытал ощущение незащищенности и беспомощности, чувствуя, что множество невидимых глаз наблюдают за ним, следуют по пятам, заглядывают в его спальню, читают его мысли, просматривают сны, прослеживают тайные влечения. Все это извлекают из него и бережно переносят в прозрачную колбу, в которой, как легкий дым, содержится знание о его жизни.

– Кто в тайном обществе? – спросил он тихо, чувствуя себя бабочкой, которую пинцетом достают из-под влажного прозрачного колпака и переносят на липовую расправилку, под яркий свет лампы, отраженной в нержавеющей стали пинцета. – Кто составляет союз?

– Мы покинули здание на Лубянке, нашу оскверненную и поруганную альма-матер, куда устремились предатели и мерзавцы, которые рылись в наших архивах, ворошили наши досье, уселись в наших кабинетах. Мы разошлись, чтобы снова сойтись. Суахили стал центром и мозгом союза. Наши люди сохранились в армии, в милиции, во всех спецслужбах. В крупнейших банках и министерствах, в общественных организациях и заведениях культуры мы присутствуем незримо, на вторых ролях. Мы – в церкви, в международных организациях, в Кремле, в Администрации Президента, во всех, даже самых маленьких, политических партиях. За каждым видным политиком, удачливым бизнесменом, ярким журналистом стоит наш человек. Все они думают, что самостоятельны, неповторимы, виртуозны. Разыгрывают головокружительные комбинации, ослепительные политические спектакли, ходят на демонстрации, хоронят царей, устраивают телешоу. Но в каждой их инициативе – в строительстве храма или боевой операции, в назначении на министерский пост или скандальной отставке – тайно присутствуют наша воля, наш умысел. Они могут враждовать между собой, готовить друг на друга компромат, заказывать киллеров, но мы всегда дружны и неразрывны...

Гречишников посмотрел на Буравкова и Копейко, принадлежавших к двум беспощадно воюющим кланам, готовым уничтожить друг друга. Они сидели рядом. Их локти касались. У обоих в белоснежных манжетах были одинаковые малахитовые запонки.

Белосельцев был бабочкой, которую держали в металлическом клюве пинцета. Опускали на липовые сухие дощечки. Погружали в длинное тельце тончайшую, из вороненой стали, булавку. Раздвигали крылья, открывая драгоценный, в легком сверкании узор. Разноцветные тугие пластины ложились на древесную гладь. И неподвижный, огромный, с голубой роговицей глаз смотрел на узоры, расширяя от наслаждения зрачок.

– Цель? – спросил Белосельцев почти отрешенно, почти не интересуясь ответом. – В чем цель союза?

– Воссоздание государства... В полном объеме... Территориальная целостность... От Кушки до полюса, от Бреста до Владивостока... Сохранение народа и восстановление численности населения... Соединение разорванных евразийских коммуникаций, промышленных потенциалов, ресурсов нефти, урана, полиметаллов... Реставрация великих пространств... Мы используем потенциалы развития, накопленные Советским Союзом, благо все секреты науки, военной индустрии и энергетики находятся в наших руках... Мы восстановим роль Великой Державы в мировом сообществе, благо все прежние союзники целы и ждут нашего возвращения в мир... Мы устраним из политики и культуры предателей, всех паразитов, оставшихся от прежней партийной системы... Повсюду – в армии, в идеологии, в экономике – будут поставлены наши кадры... Страна вернет себе будущее, но уже без прогнившей партии, предавшей народ, без гнилой бюрократии и либеральной извращенной интеллигенции... Такова краткая формулировка задачи, поставленной перед членами общества...

Он был бабочкой, распятой на липовом кресте. Его голова была прижата к доске, а крылья в разноцветных узорах были пришпилены отточенной сталью. Его грудь была пробита стальной булавкой, и он чувствовал, как острие соединяет проколотую спину и волокна сухого дерева. Он был еще жив, но к губам его длинным пинцетом прижали вату с эфиром, и он задыхался в веселящих эфирных парах. Огромный внимательный глаз с голубой роговицей, розовой сеткой сосудов наблюдал за ним, и он чувствовал падающее сверху дыхание, шевелившее волосы у него на груди.

– Как вы достигнете цели?... – спросил Белосельцев, борясь с дурманом эфира, пробиравшись к смыслу неправдоподобных услышанных слов. – Как вы возьмете власть?..

– Мы это сделаем без пошлых выборных урн, к которым десять лет под красным знаменем водит народ Зюганов. Будто не знает, что в каждой урне живет огромная лохматая крыса, которую поселила туда Администрация Президента и которая съедает все бюллетени, поданные за коммунистов... – Гречишников презрительно оттопырил нижнюю губу, которая тут же стала белой, бескровной, подпирая собой румяную верхнюю. – Мы это сделаем без народного бунта, не повторяя романтический и кровавый спектакль, устроенный у «Останкино» и Дома Советов Анпиловым и Макашовым, после которого три дня выносили трупы и сжигали их в крематориях, а ОМОН, накачавшись дареной водкой, насилует пленных студентов и протыкал шомполами барабанные перепонки баррикадникам... И конечно же, мы не пойдем на военный переворот Рохлина или вашего друга Ивлева, который неизбежно столкнет лоб в лоб боевые дивизии, и на всей территории начнутся бои, переходящие во вторую гражданскую, с ядерными взрывами в Воронеже, Твери, Петербурге... Генерал Авдеев разработал иную стратегию. Иной метод. Иной стратегический план...

Белосельцев висел на распятии, раскрыв драгоценные крылья, излучавшие предсмертную красоту. Ему на лоб, на плечи, на чресла накладывали тонкие ленты бумаги. Словно пеленали, отирали кровавый пот. И он с креста, с липовой расправилки, с горячей каменистой горы, на которой изнывали утомленные солдаты с мятыми щитами, валялись молоток и рассыпанные железные гвозди, видел огромный, без единого деревца город, пепельную, туманную от жара пустыню с далеким караваном верблюдов, тонкую линию солончака на месте иссохшего озера. И оттуда, из белых пространств, шла к нему, спотыкаясь о камни,

мать в голубом, с детства знакомом платье, и он, исчезая, воздетый на липовый крест, торопил ее приближение.

– В чем стратегия Суахили? В чем его стратегический план?

– Ты можешь это узнать, став частью плана. Ты не можешь знать план и оставаться за его пределами. Если ты согласен стать частью плана, войти в наш союз, работать с нами во имя Родины, я открою тебе стратегию... Ты согласен?..

Все было неправдоподобно, случайно. Описывалось законом совпадений, скрывавшим от разума истинную суть бытия. Бытие во всей своей полноте совершалось в стомерном объеме мира, куда не было доступа его ограниченной жизни, и оставалось лишь верить в благую суть бытия. Шестикрылый дух над мертвой головой Суахили. Яблоко в руке у блаженного перед фреской Страшного суда. Храм Василия Блаженного за высоким окном. Бабочка, пойманная Авдеевым у французского полигона в Конго. Прокурор, собиратель бабочек, с его утренним плотоядным смешком. Похожие на пернатых сослуживцы, слетевшиеся проводить большую мертвую птицу. Живой Суахили, направлявший его в африканский поход. И мертвый, после смерти зазывающий его в тайный союз. Все укладывалось в таинственный закон совпадений, открытый генералом Авдеевым, звездой советской разведки.

– Ты согласен? – Оранжевые глазки Гречишникова сверлили его. Мочки его ушей горели, как прозрачные китайские фонарики, а верхние хрящи были мертвенно-белые, словно отмороженные, и их, казалось, можно было с хрустом отломить. – Согласен вступить в союз?..

– Да, – тихо ответил Белосельцев, словно за него говорил другой, вселившийся в его неживое тело.

– Отлично! Еще один товарищ вернулся! Выпьем за наш союз!

Они поднялись и чокнулись, проливая водку на скатерть. Задохнулись от горечи. Буравков прикоснулся манжетой к обожженным губам, оставив на ней влажный след. Копейко с маху поставил рюмку на стол, так, что пламя свечи колыхнулось, почти лизнув фотографию. За окном, разноцветная, красная, золотая, зеленая, была расправлена бабочка. Она закрывала небо драгоценной пылью.

– Ну что ж, как это водится в подобных случаях, совершив обряд посвящения. – Гречишников приобнял Белосельцева, легонько подвигая его к дверям. – Совершим небольшую прогулку. Так завещал Суахили...

И они, спустившись на кристаллическом лифте, мимо молчаливой охраны вышли на Красную площадь, где их поджидал «Мерседес».

Он не спрашивал, куда они едут. Смотрел, как плывет мимо красный бесконечный Кремль. Баржа на Москве-реке подымала пышный бурун пены. В стрекозином блеске мчался встречный поток машин. Его душа замерла, была неподвижна, во власти чужой воли, смелой, упрямой, ведающей, которой он подчинился и ждал, что предложит ему эта воля, куда поведет. Она вела его по набережной, поместив в мягкую глубину могучей машины, которая расплескивала фиолетовые вспышки, грозно завывала, проныривая под мостами, неслась вдоль башен, дворцов и храмов, и он, новообращенный, окруженный молчаливыми соратниками, мчался к неведомому святилищу, где над ним совершат обряд посвящения.

Они оставили в стороне Садовое кольцо, напоминавшее сеть, туго набитую рыбой. Взлетели на Крымский мост, словно их подкинуло катапультой. Коснулись на мгновение Якиманки с белыми хоромами Министерства внутренних дел. Подкатили к Дому художника на Крымском Валу. Пустынное здание, у которого они остановились и вышли, породило у Белосельцева печальную и сладостную тревогу. Там, в прохладных безлюдных залах, в тихом свете, висели любимые картины. Красный конь с золотым наездником в лазурном озере – Петрова-Водкина. Ночная, маслянисто-черная Москва с желтыми, лимонными фона-

рями – Лентулова. Сине-зеленые осенние сады, отягченные райскими плодами, к которым тянутся оранжевые женские руки, – Гончаровой. И среди этих картин его любимая – портрет прелестной женщины в утреннем убранстве, сидящей перед серебряным зеркалом, среди туалетных флаконов, булавок и гребней.

Гречишников, Буравков и Копейко повели его мимо здания, в глубину древесной аллеи, твердым, тяжелым шагом знающих свою цель людей.

Шли мимо зеленой подстриженной луговины, на которой стояли бронзовые и каменные скульптуры. Колхозницы в окаменелых позах подымали над головами пшеничные снопы. Космонавты воздевали на мускулистых руках спутники Земли. Могучие, голые по пояс кузнецы перековывали мечи на орала. Автоматчики в касках и плащ-накидках шли в атаку. Благообразный ученый и моложавый инженер разворачивали свиток с чертежами. Памятники украшали когда-то порталы и арки помпезных советских зданий, стояли на постаментах в академиях, университетах и министерствах. После крушения Красной Империи они были свезены на этот зеленый пустырь, поставлены, словно кладбищенские надгробия. Белосельцев смотрел на них с мучительным прозрением, словно ему показали место, где были закопаны останки любимой страны, в которой он родился, которой беззаветно служил. Разрезанная на части, словно огромное бездыханное существо, страна была похоронена на пустыре, и под каждым памятником, под каждым скульптурным надгробием скрылись навсегда ее кости, мускулы, расчлененные органы, приводившие в движение могучее тело империи. Ее атомные реакторы и циклотроны. Подводные лодки и ракетные шахты. Бесчисленные города и заводы. Символы и иконы Красной Религии. Многоликие образы таинственного Красного Божества, подымавшего народ на великие битвы, даровавшего стране великие победы. Теперь все это, рассеченное на мертвые куски, истлевало в земле. И над каждым захоронением, как окаменелые танцоры балета, застыли солдаты, космонавты, сталевары.

Поводыри молча, тяжело шагая, вели его в глубину аллеи, наступая дорогими штиблетами на хрустящий гравий, напоминая смену караула, держащего равнение и шаг. И он, Белосельцев, был включен в этот суровый торжественный караул.

Другая половина просторного зеленого луга была уставлена маленькими каменными уродцами, напоминавшими карликов с голыми задами, собак с человеческими головами, ящериц с волчьими загривками, зубастых рыб с женскими грудями, лягушек с возбужденными мужскими половыми органами. Маленькие упитанные чудовища, словно сошедшие с собора Парижской Богоматери, резвились на лужайке. Совокуплялись, дрались, испражнялись, весело догрызали какую-то падаль, разбрасывали задними лапами сочную траву, зарывая экскременты. И при этом поглядывали все в одну сторону настороженными свирепыми глазками, словно кого-то стерегли, чутко сторожили, готовые кинуться разом, всей стаей, чтобы рвать и терзать.

Белосельцев с опаской и гадливостью поглядывал на каменных злобных уродцев, а войдя под высокие деревья аллеи, увидел того, кого они сторожили.

На высоком цоколе, под густой листвой, почти доставая головой до ветвей, стоял бронзовый Дзержинский в военной шинели, истовый, гордо выкатив грудь, как выкатывают ее перед расстрелом поставленные к стенке, презревшие смерть солдаты. Цоколь, с которым сливалась похожая на колокол шинель, был в следах глумлений, в остатках краски, в кляксах и сквернословных надписях тех, кто десятилетие назад сопровождал свержение памятника. На позеленелой бронзе хранился отпечаток столкновения, когда Корабль Красной Империи ударился о подводный айсберг и пошел ко дну, а бронзовая статуя на носу корабля, окисленная, сорванная бурей, была выброшена на тихий московский пустырь, под осенние деревья.

Белосельцев всматривался в полустертые хуления, в испачканные и оскверненные щиты и мечи, привинченные к постаменту. И среди оскорблений, заборных надписей, шматков

спекшейся краски в отверстие от вырванных болтов была вставлена живая красная роза. Неизвестный визитер, тайно навестивший памятник, закрепил цветок среди мерзких начертаний.

Гречишников, Буравков и Копейко, замедляя шаг, медленно вытягивая и опуская ноги, наподобие почетного караула, приблизились к постаменту, замерли, склонив головы. Белосельцев встал среди них, испытывая робость, волнение, нарастающее возбуждение, словно памятник вливал в него сокровенную живую энергию.

Казалось, скульптор, сотворивший памятник, готовил его не для парадной торжественной площади, где он величаво красовался долгие годы, а, предчувствуя его грядущую судьбу, надругательство над ним и глумление, создавал его для нынешних дней, для позорного плена, нескончаемого посрамления среди стороживших его злобных уродцев и карликов. Памятник стоял, облитый нечистотами. Был заточен в тюрьму. Черные стволы казались огромной клетью. Великая страна была убита, четвертована, похоронена тут же, на зеленой луговине. И он был обречен на пытку созерцать это кладбище. Кругом торжествовали отвратительные отродья, вращалось в Парке культуры Колесо смеха как инструмент истязания. А он стоял, истерзанный, измученный и несломленный, выгнув грудь, строго и истово глядя позеленелыми от кислотных дождей глазами.

– Прости, что не уберегли... – кланяясь памятнику, произнес Гречишников. Вслед ему Буравков и Копейко склонили головы. – Дело твоё живёт... Чекисты тебя не забыли.

Белосельцеву казалось, памятник был рад их появлению. Благодарен их тайному визиту. От памятника исходило едва ощутимое тепло, словно под металлическим литьем оставалась живая, неостывшая плоть. Он был свергнутым божеством, сброшенным с расколотого, оскверненного алтаря. И они, четверо, явившиеся к нему, были его тайными жрецами, верными служителями, хранящими заветы и заповеди отвергнутой религии.

– Мы вернем тебя на площадь. Поставим на законное место... И те, кто пачкал тебя, подвешивал в петле, повезут тебя обратно на своих горбах. Впряжем их в платформу, и они, с надутыми пупками и выпавшими грыжами, повезут тебя на Лубянку...

...Тяжелая платформа на чугунных колесах медленно катила по Садовому, по Кропоткинской, мимо храма Христа Спасителя и Манежа, огибая Кремль, Большой театр и «Метрополь», вверх, на взгорье, на Лубянскую площадь. На платформе лицом вверх, как огромная скульптура с острова Пасхи, лежал бронзовый памятник. В ремни и в цепи были впряжены голые по пояс, хрипящие, харкающие кровью предатели. Над ними свистели бичи, они рвали их уродливые тела, полосовали согнутые спины. В постромах, с выпученными глазами, отекая нечистотами, тянули что есть мочи два кривоногих уродца. Два бывших мэра, отдававшие приказ снести памятник. У одного на волосатом пальце жутко сверкал вросший в мясо бриллиантовый перстень. У другого на лысом черепе сквозь расплзшиеся костные швы сочился желтый мозг.

– Пойдем, Виктор Андреевич... Теперь ты опять с нами, – как бы издалека услышал Белосельцев голос Гречишникова, когда они уходили от памятника.

Молчаливый шофер поджидал их в «Мерседесе». Белосельцев отказался ехать, желая пройти пешком.

– Завтра я тебе позвоню, продолжим разговор, – стиснул ему ладонь Гречишников. Копейко и Буравков молча протянули руки.

– Как будем общаться по телефону? Называть всех по имени? – спросил Белосельцев, пожимая руки соратникам.

– Вообще-то у нас принят язык птиц. Каждый носит имя птицы. Буравков – пеликан. Копейко – сова. Я – дикий голубь, витютень.

– А кем буду я? – без удивления, угадывая ответ наперед, спросил Белосельцев.

– Ты? – Гречишников внимательно осмотрел Белосельцева, словно старался в его человеческом облике угадать образ тотемного зверя. – Ты будешь скворец... Завтра я тебе позвоню...

Они уселись в машину, и тяжелый «Мерседес» ушел на Крымский мост, разбрасывая в стороны лиловый огонь.

Белосельцев медленно поднимался на Крымский мост, пробираясь между огромными, падающими с неба синусоидами. Мост напоминал начертанный в небе график, изображавший пульс железного сердца, его всплески, предынфарктные сжатия, болезненные замирания, кардиограмму города, в сиреневых дымах, бензиновых выхлопах, золоте соборов, шелесте блестящих, непрерывно мелькавших машин.

Он поднимался, прислушиваясь к себе, к своим потаенным биениям, стараясь уловить их среди железного гула и дрожи. Белосельцев чувствовал этот день своей жизни как развилку древесной ветки, когда вдруг прекращается рост основного побега и из боковой, почти невидимой почки пробивается боковой росток. Он вбирает в себя все соки, весь свет неба, устремляется в торопливое, неуклонное движение, наращивая в кроне сочный массив листы. До очередного урагана, обжигающего луча, ядовитого дуновения, когда прекращается рост, ветвь усыхает, пробуждая к жизни невидимую тихую почку. «Древо жизни», – думал Белосельцев, оглядываясь на свои прожитые годы. Они были как обломанные сучья, засохшие вершины, спиленные ветки, среди которых малой пунцовой почкой набухал сегоднешний день.

Он достиг середины моста. Остановился, касаясь руками толстого железного поручня. Руки чувствовали могучую дрожь, колебания, угрюмые гулы и рокоты, пробежавшие по металлическим тягам. Он был в глубине огромного рояля, в котором звучала грозная, рокочущая музыка. Река внизу была голубой, предвечерней, с блестящим отпечатком ветра, словно крылом по воде ударила большая птица. Там, где река поворачивала к Кремлю, колыхалось золотое отражение храма Христа Спасителя, будто с купола стекала жидкая позолота прямо в реку, и на этом струящемся, ударявшем в берега отражении шла черная баржа.

Он смотрел на золотое пятно, которое увеличивалось, приближалось, окружало его, и он плыл в этом жидком золоте, выхватывая руки из отражения, глядя, как по пальцам стекает позолота.

Он видел Африку, явленную ему на Москве-реке. Он плывет в океане, играет с зеленой веткой, ныряет под влажные листья, целует, обнимает ее. Бежит по сухому склону за бабочкой, за ее изумрудным мельканием, и в небе, недвижная, переполненная кипятком, ртутным ядовитым сиянием, застыла туча. Маленький, похожий на стрекозу самолет бежит по белевой траве, несет в пропеллере прозрачное искристое солнце, превращается в красный взрыв. Морская пехота в полосе прибоя проскальзывает через белую пену, выносятся на рыжий откос, и далекое, в душном ветре, трепещет военное знамя. Африканка в прилипшей одежде встает из воды, и сквозь мокрую ткань проступают ее соски, плотный кудрявый лобок. Маквиллен, веселый, острый, смотрит на него, как из зеркала, усмехается, наблюдает за ним из прошлого.

Белосельцев почувствовал жжение на груди. Стоя на мосту, глядя на желтое пятно отражения, растегнул рубаху и увидел на груди длинный, спускавшийся к животу ожог, словно хлестнули крапивой, оставив на коже водянистые пузырьки. Другая воспаленная бахрома пересекала грудь от плеча к плечу. Крест горел на его коже под рубахой.

Все имело смысл. Имело объяснение в стомерном объеме мира, где двигалось истинное бытие, сокрытое от человеческих глаз. А здесь, на земле, в трехмерном пространстве, на Крымском мосту, это бытие обнаруживало себя как крестовидный ожог на груди, как яблоко в кармане пиджака, подаренное неизвестным прорицателем.

Глава третья

Наутро Белосельцев, едва проснувшись, увидел на стене знакомое пятно водянистого солнца, коробки смугло-фиолетовых, жемчужно-перламутровых нигерийских бабочек. Мгновенно пропитался ощущением утренней бодрости, готовности, нетерпеливого ожидания. Его новая жизнь началась, прекратив дремотное бесцельное прозябание. Он снова был в строю, был военный. Был частью осмысленного коллективного целого. Ожидал боевого приказа. Он поднялся из постели одновременно с телефонным звонком, похожим на воровавшегося в комнату шального стрижа.

– Доброе утро, скворец! Это я, лесной витютень! – услышал Белосельцев звуки, напоминавшие гульканье дикого голубя на вершине дуба. Раздался добродушный веселый смех Гречишникова. – Как почивал? Не могли бы мы сейчас повидаться?

– Приезжай ко мне. – Белосельцев с тревогой оглядел свой неприбранный кабинет.

– Давай-ка встретимся в нейтральном месте. Приезжай на смотровую площадку на Воробьевы горы, к университету. Оттуда далеко видно. Поговорим по душам. Жду тебя через час...

Белосельцев вывел из гаража свою черную, слегка осевшую «Волгу». Покатил к месту встречи, освобождая в душе пространство для предстоящего разговора, в котором должен был обозначиться план, участником которого его избрали. Он оставил автомобиль на влажном асфальте перед розово-серым университетом, который косо улетал в ветряную пустоту, одинокий и прекрасный, как замысел вождя, оставившего народу свой прощальный дар. Теперь этот дар был похищен. В аудиториях настойчиво учили тому, как побыстрее забыть эпоху побед и полюбить сменившую ее эпоху поражений.

Еще издали у балюстрады, среди прилавков и одиноких торговцев, Белосельцев увидел Гречишникова. Тот расхаживал, заглядывая в лотки с дурацкими матрешками, изображавшими Горбачева и Ельцина, перебирал сувенирные платки с двуглавыми орлами. За его головой, падая в туманную синеву, кудрявились склоны, блестела река с кораблем, круглилась арена Лужников. Москва, среди облаков, брызжущих лучей, падающих дождей, сверкала, как огромная перламутровая раковина, с жемчужинами храмов, монастырей и дворцов, окутанная туманами, в легчайшей желтизне наступающей осени.

– Рад видеть, Виктор Андреевич. – Лицо Гречишникова было розовым. Свежий ветер вырвал из оранжевых глаз две слезинки, в которых крохотными перламутровыми завитками отражалась Москва. Он был одет просто, почти бедно, напоминая праздного, располагавшего временем пенсионера. И это обыденное одеяние должно было служить конспирации, не привлекать любопытных наблюдающих глаз. – Выпьем по кружке пива там, где ветер нас не возьмет. – Он кивнул на стекляшку, прилепившуюся на откосе, с надписью «Хайнекен». Сквозь прозрачную стену был виден затейливый фарфоровый кран, из которого служитель выдавливал густую струю пива. – Кое-что тебе поведаю там, где не достанет нас чужое ухо.

Они сидели в стеклянной пивной перед тяжелыми кружками. Осторожно погружали губы в белую, словно взбитые сливки, пену, добираясь до терпкой горечи. На тарелках, окутанные легким паром, розовели креветки, похожие на маленьких распаренных женщин, вышедших из душистой бани.

Москва сквозь стекло переливалась, пестрела, вспыхивала золотыми россыпями церквей, полосатыми дымными трубами, стальными кружевами мостов и башен. Храм Христа казался огромной золотой дыней, созревшей посреди Москвы под падающими голубыми дождями. Белосельцев, оглядывая Москву, любясь ее женственной красотой, не забывал ни на минуту, что в городе царствует враг. Он захватил Кремль, осквернил монастыри и соборы, засел в министерствах и военных центрах. Невидимый червь проточил золотистое яблоко

города, поместил свое тулово среди площадей и проспектов, уткнулся лбищем в Спасскую башню, окружил тугим хвостом окраины.

– Я говорил тебе, что все известные методы захвата Кремля и отстранения Истукана от власти недействительны... На выборах спятивший, разделенный на части народ, как стадо бычков, торопится к урнам, под крики телевизионных пастухов, под ударами электронных бичей. С торжественным видом ставят в листах каракули, а компьютер хохочет над доверчивыми старушками, выбивает на табло заложенный в него результат... Военный переворот исключен при помраченном сознании офицеров, которые днем в Генштабе планируют победы в несуществующих войнах, а ночью идут на товарную станцию и разгружают картошку, чтобы заработать детишкам на хлеб. Этим офицерам, чтобы вернуть себе самоуважение, необходима маленькая победа на маленькой горной войне, а этого, как ты знаешь, в Чечне не случилось... Народное восстание невозможно, ибо наш богоносный народ предпочитает тихо вымирать под пение группы «На-На», нежели браться за цепи или вилы и идти палить усадьбы еврейских банкиров... Импичмент не может состояться, потому что к каждому народному депутату прикреплен тайный советник, который в нужный момент сует ему в карман конверт с зелеными визитками Джорджа Вашингтона... Остается единственное. – Гречишников сильно дунул на пену, раскрывая под губами черное зеркальце пива, которое тут же сомкнулось под пышными белыми хлопьями. – Истукан должен добровольно уйти из Кремля, передать власть другому, в которого бы верил, как в сына, полюбил, как себя самого... Необходим человек – назовем его условно Избранником, – кому, не страшась возмездия за смертный грех, Истукан вручит чемоданчик и ключик... Такой человек существует... Его продвижение во власть составляет содержание Плана Суахили, который разработал покойный генерал Авдеев.

Белосельцев смотрел на Москву, которую им, заговорщикам, предстояло отнять у врага...

...Народные толпы, прорывая ряды оцепления, сокрушая солдат со щитами, валят, как кипящая смола, по Новому Арбату, мимо Манежа, к Кремлю, накатываясь на розовые отвесные стены. С красными и имперскими флагами, выставляя иконы, падая под огнем пулеметов, бегут к Боровицким воротам. Ломают запоры, вышибают хрустящие щепки ворот, врываются в Кремль. Мимо соборов, дворцов яростное, в тысячи ног, топотание. Арсенал, колокольня Ивана Великого, белокаменное теремное крыльцо. В здании сената, в пустом кабинете, среди золота, малахита и яшмы – Истукан, больной и безумный. За ноги, по лестницам, головой о ступени, сволакивают на брусчатку, тянут, оставляя липкий слизистый след. Истерзанного, неживого, с вываленным языком, затапливают в Царь-пушку. С ревом огня, в длинном, косматом пламени выстреливают через стену, к реке. Летит обугленный, похожий на огромную ворону, комок. Он плюхается в реку у английского посольства, качается, как груда тряпья, дымя, распуская по воде нефтяную пленку сгоревшего жира...

– Несостоявшийся захват Кремля, когда оробевший Руцкой из осажденного Дома Советов не повел народ на штурм, обрек восставших на поражение.

Наши враги умны, осторожны, опасливы. Они поместили Истукана в непроницаемый кокон из тысячи оболочек. Охраняют его вблизи и на дальних подступах. В его кремлевских палатах и на границах страны. Все этажи власти заняты, захвачены их клевретами. Охранник и лекарь, гастроним и чесальщик пяток, командир дивизии и начальник Генерального штаба, министр внутренних дел и министр культуры, телевизионный магнат и последний репортеришка в занюханной уездной газетке. Все, что приближается к власти, тщательно просматривается под лупой, изучается под рентгеном, проверяется на детекторе лжи. Мгновенно истребляется, если в нем под микроскопом разглядели хоть крохотную точку света, малый проблеск любви к Отечеству, червоточинку недовольства. Сто колец обороны, мощных, как кольца Сатурна. Сто слоев защиты, как у атомной станции. Не пройти, не проник-

нуть в святилище. Но Суахили нашел проход. Просчитал прогалы в их черной обороне. Прочертил единственно возможный лабиринт, как в компьютерных играх, по которому можно подойти к Истукану, не взорвавшись, не задев лазерного луча, не возбудив систему электронной защиты. Гениальность плана заключается в прозрении крошечных законов, по которым действует черная власть. В понимании психологии тех, кто управляет русской бедой, знании инстинктов новых властолюбцев, которые вывелись, как черви, из самых гнилых слоев, накопившихся в недрах страны. Наши соратники, наши птицы, как мы их называем, расселись по всем ветвям околдованного русского леса. На каждой засохшей ветке, в каждом глухом дупле, на каждой обожженной вершине сидит наша молчаливая птица. На плече каждого предателя, у его уха и его виска, сидит наш сокол-сапсан. Они используют его для охоты на русскую дичь и не ведают, что в час их потехи сокол взлетит, но ударит не лисицу, не зайца, а охотника, прямо в лоб, в висок, в темя... Читай сказку Пушкина о Золотом петушке. – Гречишников засмеялся, отчего пена в его кружке вылепилась вмятинами и буграми, отпечатав колебание смеха.

Белосельцев смотрел на Москву, на ее розово-белые, телесные тона, в которых улавливалось дыхание, таинственное биение жизни. Среди белесых туманов и бегущих голубых теней тонко сияла останкинская игла, отточенная, как завершение шприца. Уже влита ядовитая ампула. Бьет в небо крохотный фонтанчик пузырьков. Подставлена исколотая, в перекрученных венах, рука. Красный резиновый шланг врезался в дряблую кожу. В черно-синюю вену вонзается острое, медленно втекает желтоватый раствор. На измученном, изможденном лице наркомана, в голубых белках, как луна, восходит безумие. Огромное, волосатое, с красными губами, розовыми влажными клыками, хохочущее лицо Сванидзе.

Жестокие дни октября. Толпа осадила «Останкино». Генерал Макашов в мегафон побуждает народ к атаке. Грузовик пробивает дверь. Рев, ликование толпы. Со всех этажей, припечатав толстые губы к стеклу, расплющив горбоносые лица, смотрит нечистая сила. Плоскогрудые, в румянах, русалки. Косматые, замшелые лешие. Размалеванные дикие ведьмы. Развратные, в белилах, старухи. Растленные жеманные мальчики. Все ждут возмездия. Смотрят, как разгорается пламя, вылизывает этажи. Казак с золотой бородой грозит автоматом. Рабочий в пластмассовой каске держит бутылку с бензином. Из черных бойниц бэтээров, из оконных проемов – кинжальный огонь пулеметов. Крики убиваемых женщин, гора дымящихся трупов. Бег толпы, в которую вонзаются пули. По спинам, по головам, по затылкам, раздирая одежды, зажимая ладонями раны, бегут люди, проклиная и ахая. Сверху жестокими глазами змеи, как огромная железная кобра, смотрит башня. Шипит, извергает синее пламя, кидает ртутного цвета молнии. Кровавый поход на «Останкино». Неудавшийся штурм Макашова.

– Есть Избранник. Он никому не виден. Его не заметишь в толпе напыщенных, говорливых политиков. Не заметишь на лживых пресс-конференциях, помпезных юбилеях, потешных военных парадах. Он закрыт, зашифрован. Как восточная женщина, укрыт в паранджу. Он сбросит покров в нужный момент, которого никто не ждет. Его не успеют уничтожить клеветой, испачкать грязным компроматом, ошельмовать дешевым публичным спектаклем, превращающим политика в карикатуру. Он появится внезапно, как древний герой-избавитель, на фоне грозных событий, сотрясающих страну, и народ уверует в него как в спасителя. Изберет его, одного из тысячи, понесет на руках. Мы долго его искали, как ищут астрономы, исследуя пустое черное небо, вычисляя нахождение малой, невидимой взору планеты. Мы просматривали множество кандидатов. Изучали в них каждую мелочь, до родословной, до группы крови. Нашли наконец крохотную маковую соринку и стали возвращать. Росток за ростком, листик за листиком. Переносили с места на место, когда грозила опасность. Пересаживали с грядки на грядку. Пропалывали вокруг него сорняки. Теперь он возвращен. Он сам не догадывается об уготованной ему роли. Он – драгоценный

плод наших коллективных усилий. Наш сын полка. Выращен великим садовником Суахили. Ему отдаст Истукан ключ от кремлевского кабинета и ключик от потаенного, с ядерными кодами, кейса...

Москва переливалась стеклянными вспышками окон, белыми чешуйками зданий, прожилками проспектов и улиц. Она напоминала крыло белой бабочки с тонким цветным узором. Белосельцев вглядывался в панораму города, различая нервные волокна и линии, капилляры с прозрачным соком, упругие опоры, соединяющие город. Высотные здания своими остриями закрепляли Москву на земле, не давали ей улететь. Монастыри и храмы соединяли ее с небесами, устремляли ввысь. Проспекты, разбегаясь в разные стороны, как тугие стропы, растягивали ее на равнине. Белые дымы, словно огромные шелковые парашюты, влекли ее в ветряные дали.

Отряды повстанцев уходили из Дома Советов, атаковывали министерства и штабы, захватывали центры управления и связи. Стрельба у военного объекта в районе метро «Динамо». Схватка в здании ТАСС. Попытка пробиться в Министерство внутренних дел. Рывок к небоскребу МИДа. Казалось, еще усилие – и враг будет изгнан из города, войска поддержат повстанцев, перехватчики ПВО станут догонять самолеты с предателями, сажать их на военные аэродромы. Слабая воля вождей, трусливое прозябание лидеров лишили повстанцев победы. Танки генерала Грачева гвоздили по Дому Советов, вырывая из белого здания клочья огня и копоти. У стены стадиона каратели генерала Романова расстреливали пленных повстанцев.

– Цель, которую мы поставили, – огромна, непомерна и свята. Россия, тысячелетняя, родная, великая, гибнет у нас на глазах навсегда, как Атлантида, как Майя. Мы, только мы, тайные патриоты России, можем ее спасти. Удержать на плаву, не дать погрузиться в бездну. Эти дни, недели и месяцы покажут миру, сохранится ли Россия и населяющий ее народ или от русских останутся романы Достоевского, свиток древней летописи, довоенное издание Пушкина, помещенные в библиотеку Конгресса. Цель свята. Средства для ее достижения не имеют ограничений. Взрыв атомной станции или сожжение останкинской вышки допускаются для достижения цели. Этика членов нашего общества сводится к абсолютному подчинению, к безоговорочному выполнению приказа, к безропотному повиновению. Это не слепая тупость командования, не свирепая диктатура властвования, а свободный выбор русского офицера, дававшего присягу на верность Родине, продолжающего исполнять святую присягу в условиях оккупации. Повторяю, священная цель оправдывает любые ведущие к победе средства...

Белосельцев был возбужден. Он радостно внимал Гречишникову. Был наперед с ним согласен. Был готов подчиняться братству. Рисковать, умирать, истреблять ненавистных врагов. Был снова не одинок, был с друзьями. Был награжден их доверием. Был принят в их тайный священный круг. Его опыт, умение разведчика, его ненависть и любовь, страстное желание служить, завершить свою долгую жизнь осмысленным, главным поступком – все это находило теперь выражение. Москва, в драгоценном мерцании кремлевских соборов, повитая сиреневой дымкой, в тончайшей позолоте осени, призывала его. Своей открытой, разъятой грудью, алым, пульсирующим сердцем, любящим и ненавидящим, он прижимал к себе Москву, окроплял своей кровью, окружал сберегающим дыханием.

– По указанию Суахили мы не тревожили тебя до срока. Видели, как ты пробираешься под землей в осажденный Дом Советов. Как убегаешь в леса от бесов в черных масках, когда по Москве катились погромы. Видели твою апатию, тоску, метания. Наблюдали твою трогательную больную любовь к юной сумасшедшей красавице. Но теперь срок настал, ты нам нужен. Ты – африканист, любимый ученик Суахили, а сегодняшняя русская жизнь напоминает Африку. «Русская Африка» – так говорил Суахили. Ты – специалист по мусульманским проблемам, знаток Востока, Кавказа. У тебя есть давние связи с дагестанскими исламскими

лидерами, которые исповедуют ваххабизм. И ты энтомолог, обладатель уникальной коллекции, которую хочет посмотреть Прокурор, получить от тебя в подарок несколько африканских бабочек. Ты нам нужен. Готов ли ты, рискуя жизнью, отказавшись от собственных представлений и целей, служить общему делу, добиваться священной цели – спасения любимой России?

Голова у Белосельцева кружилась. С вершины Воробьевых гор Москва лежала перед ним в своей женственности, красоте. Молила о защите, спасении. Сидящий перед ним человек, старый товарищ, глава священного братства, предлагал ему власть над миром. Над Кремлем, над храмом Христа, над миллионами невидимых жизней. Из области таинственных совпадений, недоступной для разумения, открылись ему золотые капли церковей, кровли белых дворцов, шатры колоколен и башен. Давнишняя притча, когда бабушка, раскрыв маленькое, с золотым обрезом Евангелие, читала ему об искушении в пустыне, о кровле высокого храма, о царствах мира, предлагаемых во владение. Он искушался. Был взят из пустыни своего одиночества, из горячих песков духовной немощи, где чахла и иссыхала его душа. Был поставлен на Воробьевых горах пред ликом любимого города, взывающего о спасении. И он мог его сберечь и спасти.

– Согласен, – сказал Белосельцев, глядя в вопрошающие, круглые, как ягодки рябины, глаза Гречишникова. – Располагайте мной до конца.

– Вот и ладно, дорогой скворец! – весело, по-простецки, рассмеялся Гречишников. – Что-то мы здесь с тобой засиделись... Как бы кто не заметил... Давай, от греха, поездим по городу, оторвемся от «хвостика», если он прицепился...

И они, оставив на столе недопитые кружки, мимо двух молчаливых людей, отвернувшихся от них к балюстраде, прошагали к машине, на которую упал сухой золотистый лист.

Белосельцев вел машину, отрываясь от «хвоста», который вдруг обнаруживал себя то маленьким скромным «жигуленком», привязавшимся, как назойливая муха, то нарядным «Фольксвагеном», ровно, соблюдая дистанцию, катившим вслед, то разбухшим, тяжеловесным джипом, косолапо бежавшим по пятам. Желая сбросить «хвост», Белосельцев погружался в шелестящую гущу Садового кольца, зарываясь в блестящий поток машин, как в густую листву. И тогда ему казалось, что все автомобили гонятся за ним, и он сбрасывал их с себя, как пестрый назойливый ворох, ныряя в боковую улочку, пробираясь среди посольских особняков и вялых флагов, радуясь, что обманул преследователя. Но вдруг малиновая «Вольво» из подворотни плотно садилась на хвост, начинала преследовать его среди церквушек и ампирных особнячков, и он вновь кидался в месиво Садовой, сливаясь с вязким, шумным скольжением, как капля сливается с рекой.

– Здесь остановимся, – сказал Гречишников, указывая на старинный дом, украшенный белыми колоннами, ампирным фронтоном с лепниной, чугунным балконом. Над деревянными, старой работы дверьми чернел глазок телекамеры, в каменной кладке нарядно желтого тела медная кнопка звонка.

Молчаливые охранники с пистолетами и рациями провожали их в глубь особняка, сверкавшего новизной, хрустальными люстрами, дорогими паркетами, мебелью пушкинских времен, каминными часами в виде античных героев, старинными картинами в золоченых рамах. И все это вдруг исчезло, превратилось в матово-белый, без окон, зал, где ровными рядами выстроились белоснежные бруски вычислительных машин, столы были уставлены компьютерами, на экранах вспыхивали цветные таблицы и графики, и десяток операторов в белых халатах бесшумно били по клавишам, порождая причудливую игру голубого, зеленого, красного.

– Благополучно? Без приключений? – встретил их вопросами облаченный в белый халат Копейко, с пепельно-серой круглой головой, похожий на полярную сову. – Рад вас

приветствовать в нашем святилище, где размещен искусственный электронный интеллект, созданный по замыслу Суахили.

Копейко, возглавлявший в былые времена Управление военной контрразведки, после крушения и исхода с Лубянки пошел в услужение к магнату Зарецкому. Создал для него разветвленную сеть системы безопасности, построил службу разведки, собрал аналитический центр. Способствовал его обогащению и могуществу. Он незримо следовал за ним по пятам, создавая проекты, благодаря которым Зарецкий обыгрывал конкурентов, захватывал нефть и алюминий, трубопроводы и железные дороги, телевизионные каналы и банки. Проникнув в ближайший круг Президента, став другом президентской семьи, магнат очаровал и вовлек в свои сети президентских дочерей и зятьев и использовал эти душевные связи для укрепления своей империи, для оттеснения своих врагов и соперников, главным из которых оставался магнат Астрос, схватки с которым сотрясали страну, были полем брани, где погибали политики и коммерсанты, проваливались в небытие компании и тресты, падали простреленные пулями банкиры и взрывались в уютных «Мерседесах» директора заводов, кровоточили границы областей и республик и наемные полчища журналистов насмерть сражались друг с другом на телеэкранах и страницах газет.

– Все, что вы видите, – Копейко повел белым рукавом по белоснежным стенам, сияющим компьютерам, разноцветным экранам, – все это удалось спасти от мерзавцев, когда они громили Лубянку. Лучшая вычислительная техника, лучшие программисты, лучшие аналитики. Мы не дали им погибнуть, собрали воедино, обеспечили работой и заработками. Постоянно совершенствуем аналитические возможности центра, покупаем машины новых поколений, приглашаем лучших выпускников институтов. Мы можем проводить глобальный анализ, как это делали когда-то наши службы, прогнозируя мировые кризисы, смену политических формаций в разных районах мира. Ничто не погибло – ни один гениальный подход, ни один футуролог. И все существует под прикрытием Зарецкого. Он финансирует Центр, он дает ему задания и заказы. Вся информация, которая добывается нами, служит его могуществу. Но в любой момент может быть использована против него. Она сокрушит его империю, а искусственный мозг во всей полноте будет возвращен государству...

Белосельцев восхищался. Он с обожанием смотрел на Копейко. В то время, как он, Белосельцев, проводил никчемные годы, уныло бездействовал, бессмысленно мыкался от одного громогласного пустышки к другому, ходил напрасно на митинги, впадал в прострацию, ловил мимолетное любовное счастье, его бывшие товарищи действовали. Сражались, обманывали врага. Как во время Великой войны, когда немцы наступали, у них из-под носа на товарных эшелонах вывозили заводы, научные институты, инженерные школы. В Сибирь, за Урал. И там, в чистом поле, начинали крутиться станки, вытачивались стволы и снаряды. А в тылу у противника создавалась подпольная сеть, складировалось оружие, работали рации и на взорванных рельсах истлевали составы с их танками, пылали цистерны с горючим. Он смотрел на Копейко, на человека-сову, восхищаясь его гениальностью.

– Наши компьютеры содержат сведения обо всех известных персонах страны. О политиках, банкирах, промышленниках. О писателях и бандитах. О священнослужителях и лидерах партий. Их тайные и явные связи. Их пороки и их достоинства. Компрометирующие сведения. Кто получал и давал взятки в правительстве и парламенте. Кто передавал государственные тайны агентам иностранных держав. Кто участвовал в заказных убийствах. Кто замешан в содомских грехах.

Копейко остановился у оператора, немолодого мужчины, в чьи морщины была насыпана серебристая пыль и чьи сухие желтоватые пальцы бегали по клавишам, выбивая на экране сложные схемы и графики. Мелькали имена олигархов, названия офшорных зон, лоббированные в Думе депутаты, члены президентской семьи. И бесчисленное количество

цифр, напоминавших бесконечные цепи, на которые были посажены люди, ухищрениями разведки превращенные в цепных животных.

— Перед тем как обратиться, например, к какому-нибудь епископу с просьбой похлопотать у губернатора за представителя нашего регионального банка, мы заглядываем в компьютер и узнаем, какую долю этот епископ имеет в торговле нефтью и табаком, как он связан с гомосексуальным скандалом в подопечном ему монастыре, какие услуги он оказывал нашему ведомству в советское время и какая сумма положена на счета его мирских племянников и сестер. Мы проводим с ним переговоры, намекаем на эти данные, иногда показываем пленку, с запечатленными на ней играми иноков в келье, жертвуем дары в новопостроенный храм, и епископ изо всех сил хлопочет перед губернатором, чтобы тот направил бюджетные деньги в подведомственный нам банк...

Копейко мягко улыбался, переходя к другому компьютеру, за которым сидел молодой человек с черной повязкой на лбу и крохотной золотой сережкой в одном ухе. Он бегал по клавишам хрупкими сахарно-белыми пальцами.

— Есть специальный дисплей, на котором выявляются потенциалы всех имеющихся политических сил. Их соперничество, их тайные взаимодействия, вспышки их активности и периоды угасания. Их влияние в парламенте и правительстве. Политическая агентура в тех или иных странах мира. Источники финансирования, в том числе из криминальной среды. Их участие в важнейших государственных событиях, социальных волнениях, экономических и военных кризисах...

Молодой человек за компьютером выстилал экран разноцветными полями, напоминавшими цветущую тундру, — белое, золотое, огненно-красное, изумрудно-зеленое, ослепительно голубое — словно цвели мхи и лишайники, благоухал багульник, дергались на ветру лютики, солнце дрожало на поверхности озер и болот. Все двигалось, менялось местами, сжималось и расширялось, смешивало цвета и оттенки. Так изображались влияние и интенсивность различных политических групп и партий, их зарождение и распад.

— Мы можем, например, проследить историю болезни под названием «Черномырдин», ее зарождение, превращение в эпидемию, пик ее тлетворного влияния и постепенное угасание и вырождение. В момент его переговоров с Басаевым, когда он остановил операцию спецслужб в Буденновске, а затем предательски остановил войска в Чечне на пороге победы. В пору его «миротворческой» миссии в Югославии, когда он, в угоду американским друзьям, навязал Милошевичу позорный мир, предав российские интересы на Балканах. Здесь зафиксированы его тайные переговоры в Нью-Йорке и Бонне, когда он огласил свое намерение стать Президентом. Его жалкое отступление, когда спецслужбы пригрозили расследованием невиданного воровства газа и нефти...

Копейко говорил, и, откликаясь на его слова, грязно-коричневое пятно на экране, отображавшее влияние Черномырдина, колыхалось, расползалось и стягивалось, словно пролитая на воду нефть.

Белосельцев жадно внимал. Это был его мир, его стихия. Задачи, созвучные его интеллекту. Хаос, который окружал его эти годы, был управляем. Среди разрушительных безумных стихий находился скрытый, действующий осознанно центр. Его одинокий, обессиленный разум нашел наконец свое подобие.словно в огромном безжизненном Космосе, среди обугленных мертвых галактик, черных безмолвных дыр крохотная живая планета, страшась своего одиночества, принимает послание с другой, удаленной планеты, на которой есть жизнь и разум, подтверждающее разумность бытия, его неслучайность, присутствие в мироздании Божественного промысла.

— Есть программа, которая показывает основные тенденции в обществе.

Копейко остановился у компьютерного стола, за которым работала красивая женщина, чье лицо казалось смуглым от легкого грима, веки были перламутровыми, как две темные

раковины, а волосы отливали стекляннным блеском. От нее едва слышно веяло дорогими духами, и пальцы в кольцах плавно перебирали бесшумные клавиши.

– Мы можем проследить темпы спада в промышленности, кривую вымирания населения, износ оборудования на атомных станциях, нарастание вывозимых за рубеж капиталов. Можем предсказать возможность техногенных катастроф на флоте и в авиации, вероятность народных волнений и рельсовых войн, приближение военных конфликтов в Чечне и Дагестане, где распространяется ваххабизм.

Женщина перебирала пальцами, из-под которых бежали разноцветные графики. Сплетались, возносились, падали. Отображали умирание огромной страны, попавшей в катастрофу, находившейся под капельницей на операционном столе.

Белосельцев остро смотрел, понимая с полуслова, читая орнаменты графиков, как музыкант читает по нотному листу партитуру. Он отыскивал среди множества линий ту синусоиду, что изображала его мятущуюся мысль, всплески его надежды, провалы его безнадёжной тоски.

Они покинули компьютерный зал и сидели теперь в уютной ампирной гостиной за овальным, отделанным бронзой ореховым столиком, перед горящим камином, на котором стояли фарфоровые часы с купидонами. Им принесли крохотные чашечки кофе из старинного усадебного сервиза с изображениями Наполеона и Александра I, молочник и сахарницу с золотыми каемками. Белосельцев с наслаждением делал маленькие глотки, глядя на пылающее смоляное полено. Ни о чем не расспрашивал. Довольствовался тем, во что его посвящали. Он должен был многое узнать о проекте, прежде чем ему укажут его место.

– В основе Проекта Суахили лежит теория конфликтов. – Копейко любезно, на правах хозяина, налил молоко из фарфоровой горловины в чашки Гречишникова и Белосельцева. – Наше умение искусственно создавать конфликты и управлять ими есть способ проникновения во власть и устранения препятствующих факторов. Мы создаем в монолитной обороне противника серию надломов и трещин, ведущих в Кремль, сквозь которые осторожно, шаг за шагом, продвигаемся в сокровенный центр власти. В этой гостиной во время тихих собеседований рождаются активные мероприятия, которые воздействуют на Думу, на членов кабинета, на самого Президента, и каждая «активка» неуклонно приближает нас к победе. Теория победы в конфликтах есть главный инструмент овладения властью, разработанный генералом Авдеевым...

Белосельцев упивался, вслушиваясь в формулировки, от которых отвык среди бессмыслицы фальшивых лозунгов, ханжеских молитв, лживых деклараций. Это был язык его племени, на котором изъяснялся его народ, рассеянный, поруганный, изгнанный из дома, потерявший своих вождей и пророков. Он узнавал своих единокровцев по неповторимому языку, сохраненному ими после падения Вавилонской башни. Открывал единоверцев по их речениям, сбереженным среди смешения языков и народов. Теорию конфликтов он изучал под Кандагаром, прочесывая с отрядом спецназа пустыню Регистан, где вертолетным ударом был разгромлен караван моджахедов; раненные насмерть верблюды отрывали от песка плачущие глазастые головы, солдаты распарывали ножами полосатые тюки, вываливая груз автоматов и мин, уцелевшему погонщику в чалме и хламиде крутили веревкой руки. Теорию конфликтов он познавал в долине реки Кунене, где двигались батальоны ЮАР, горели тростниковые хижинки, отряд ангольской пехоты, побросав оружие, убегал среди белесой травы, и «Канберры» на бредущем раздували траву до земли, косили солдат из пулеметов. Эту теорию управляемых локальных конфликтов он постигал на берегу Рио-Коко, где сандинисты в сыром окопе наводили пушку на коричневый блестящий поток, по которому скользило каноэ, индейцы-мескитос уходили от погони, и снаряд подымал на воде высокий гулкий фонтан. Эту теорию тлеющих конфликтов он проверял в кампучийском храме Ангкор перед золоченым Буддой, чье деревянное тулово было прострелено очередью; за окном устало

пылила вьетнамская пехота, лязгали трофейные американские танки и тянулись унылые вереницы погорельцев и беженцев.

Теперь, слушая старого товарища, он наслаждался его жесткой, металлической лексикой, которая как наждак счищала с души ржавчину пустопорожних, обрыднувших слов.

– Публика, наблюдая Зарецкого, его влияние на семью Президента, неутомимую деятельность, что увеличивает его миллиардное состояние, виртуозные политические комбинации, от которых сотрясается страна, падают правительства, начинаются приграничные войны, – наша близорукая публика считает, что я являюсь его слугой и рабом, послушным исполнителем его воли, копьем, продлевающим его руку. – Копейко обвел смеющимися глазами гостиную, любовно осматривая каждый хрусталик в люстре, каждый завиток на лепном карнизе, каждую золотинку на фарфоровых часах с игривыми купидонами, наслаждаясь завершенностью старомодного интерьера, его музейной подлинностью. – Но никто не догадывается, что все финансовые операции и политические проекты, сделавшие Зарецкого миллиардером, осуществлены с нашей помощью, с использованием наших связей, нашей разведки, наших аналитиков и исполнителей, которых вы, Виктор Андреевич, могли встречать в Афганистане, в спецподразделениях нашего ведомства.

Копейко наслаждался окружавшим его комфортом. Тяжелым поленом в камине, над которым витало золотисто-голубое пламя. Ореховым полированным столом, в котором, как в ледяной поверхности, отражались фарфоровые чашки и кофейник. Высоким полукруглым окном, полным серебристого дрожащего солнца. Он прислушивался, словно за дверью, в соседнем танцевальном зале, вот-вот раздадутся звуки рояля.

– Это мы проникли в государственные банки и, взломав защиту, с помощью фальшивых авизо выкрали огромные деньги, перебросив их на зарубежные счета Зарецкого, списав это воровство на чеченцев. Мы, используя связи среди полевых командиров Афганистана, таджикских военных, русских пограничников и таможенников, организовали транзит наркотиков из Лашкаргаха через Россию в Западную Европу, с последующим отмыванием денег в игорном бизнесе Варшавы и Будапешта, контролируемом Зарецким. Мы создали хитроумную цепь подставных фирм и офшорных зон, куда сбрасываются кредиты Валютного фонда, выделяемые России, утекают в нью-йоркские банки, пополняя богатство Зарецкого на миллиард долларов в год. Мы помогли ему завладеть крупнейшим телеканалом, устранив опасного конкурента, о котором до сих пор рыдают либеральные журналисты, отмечая ежегодно день трагического убийства, когда этот кумир толпы и ловкий еврейский коммерсант был найден в подъезде с окровавленными усами. И именно наши специалисты, работающие с изотопами, заложили капсулу с калифорнием в спинку кресла, на котором любил сидеть один из удачливых соперников Зарецкого, после чего тот умер от скоротечного рака мозга. – Копейко бережно тронул фарфоровую чашечку, столь тонкую, что она просвечивала на солнце, как розовая мочка женского уха. Император Наполеон в военном мундире был чуть стерт от множества прикосновений, словно потускневший узор на крыле бабочки, которую помяли дожди и ветры. – Может показаться, что всем этим владеет Зарецкий. Но это иллюзия. Его богатство устроено нами так, что оно висит на тоненькой паутинке. Оно отрешится от Зарецкого и упадет нам в руки. Мы копили это богатство, лишь используя его имя, не для него, а для нас. Сбереженное, сконцентрированное, действующее, оно станет работать не на магната Зарецкого, которого похоронят в неизвестной могиле где-нибудь в латиноамериканской стране, а на русское государство, которому мы присягнули на верность...

Белосельцев чувствовал, как у него по-молодому горят щеки, словно в блеклую уставшую плоть, в стынущую, вялую кровь впрыснули молодящий гормон. Глаза, подернутые влажной пленкой, смотрели зорко, различая крохотные выбоины на мраморной плите камина. Ноздри чутко ловили запахи елового дыма и горьковатого бразильского кофе. Слух улавливал слабые потрескивания горящего полена, в котором закипали смоляные соки.

Услышанное не пугало, а восхищало его. В борьбе с отвратительным злом, которое убивало народ, с преступным и мерзким укладом, в котором, как в кислоте, погибала и растворялась страна, были дозволены все методы, все без исключения средства, если они служили борьбе и победе. Он, разведчик, был готов сражаться по правилам беспощадной войны, для которой его готовили, в которой он был разгромлен, и теперь, найдя уцелевших соратников, был счастлив продолжить войну.

– Вместе с Зарецким мы втянули в незаконный бизнес множество высоких чиновников, министров правительства, действующих генералов, офицеров безопасности. Мы осторожно и незримо включили в его доходные, криминальные дела Администрацию Президента, дочерей и родственников Истукана, самого Истукана, запятнав его нефтяными кляксами, кровавыми брызгами, усыпав бриллиантами пальчики его сластолюбивых дочек, возведя в Австрийских Альпах, на Лазурном Берегу, на побережьях Испании особняки и виллы, записанные на августейшее семейство. И когда все спутались в преступный клубок из взяток, незаконных хищений, нераскрытых убийств, мы сделали утечку. Сначала во французские газеты – о русских счетах в отделениях банка «Барклай». Потом в американские – о незаконном отмывании денег в «Бэнк оф Нью-Йорк». Потом поместили в английских журналах фотографию виллы в Баварии, подаренной президентской дочери богатым банкиром. Потом передали швейцарской прокуратуре некоторые сведения о взятках и операциях с наркодолларами. И скандал начал разрастаться, как махровый георгин с жирными, мясистыми лепестками. О нем заговорили в американском Конгрессе, о нем зашептались на международных форумах, им стали заниматься прокуроры нескольких стран. И главное – им стал заниматься наш Прокурор, о нем стали писать наши газеты. Постепенно Кремль стал казаться местом, куда свозят краденое, где угнездилась грязная мафия, где хранятся наркотики, складируются фальшивые доллары, происходят содомитские оргии. Президент со своим окружением стал мишенью беспощадной критики со стороны конкурентов, Лысого Мэра, мечтающего въехать в Кремль, множества зубастых, как пираньи, журналистов, купленных Мэром, и главное – Прокурора, который открыл уголовное дело о коррупции в кремлевских верхах. Возник конфликт, в который вмешиваются все новые и новые силы, раскалывая правящий класс надвое. Раскалывают армию, систему безопасности, правительство, сообщество олигархов. Ибо соперник Зарецкого, которым незримо управляет наш умный соратник Буравков, талантливый и мерзкий Астрос, включился в конфликт на стороне Прокурора и Мэра со всей мощью своей телевизионной империи, своих капиталов, международных еврейских связей, превращая эту схватку в прелюдию гражданской войны. В монолитных льдах открылась трещина, появился просвет свободной воды, куда мы направили наш маленький юркий челнок – пирогу Суахили. – Копейко сочно расхохотался, показывая ровные вставные зубы, делающие его вечно молодым.

Белосельцев испытывал утонченное наслаждение, как от звука любимой музыки или созерцания любимых картин. Изошренное искусство управления людскими пороками, страстями и похотями, разработанное в иудейских молельнях, усовершенствованное в святилищах египетских жрецов, проверенное в римских дворцах и термах, блистательно применяемое ватиканскими нунциями, воплотилось в политику Сталина, сумевшего стравить и рассорить своих злейших врагов. Руками одних уничтожить других, а последних, обессиленных в кровавом конфликте, приковать к своей политической колеснице и протащить, как по булыжной мостовой, через пятилетки, коллективизацию и чистки. После чего он остался единственным властелином огромной Красной Империи, которую сделал мировой и космической. Этот метод, опробованный с библейских времен, в совершенстве освоенный Дзержинским и Берией, был теперь единственным средством борьбы, которую вело подполье разведчиков. И он, Белосельцев, не испытывал угрызений совести. Владея методом, он был готов включиться в борьбу.

– В этот разлом, постоянно его расширяя, не давая сомкнуться, мы ввели Избранника. Ведем его незримо для глаз. Мне поручено курировать Зарецкого. Управлять его действиями. Его руками подвигать Избранника к власти. А потом уничтожить магната. Я использовал тысячу способов, чтобы сделать его могучим. И знаю тысячу средств, чтобы его сокрушить. Нам известны его привычки, одна из которых побуждает его запереться в ванной и там, среди пенных шампуней и зеркал, заниматься любовью с самим собой. Нам известны стихи Бодлера, которые он выучил наизусть и в которых видит отражение своего мазохизма и своего патологического честолюбия. У нас есть полная история его болезней с самого детства, включая психические расстройства и венерические инфекции. У нас есть отпечатки его пальцев, слепки с зубов, рентгеновские снимки скелета, пробы волос, данные о генетическом коде. Есть модели его поведения в случае успеха, неудачи, смертельной угрозы, приступов мизантропии. Когда кольцо вокруг него сомкнется и он убежит из России, делает себе пластическую операцию, наденет парик, отрастит усы, мы все равно его вычислим. Найдем в каком-нибудь крохотном пуэрто-риканском городке на берегу океана, и наш снайпер пустит пулю в открытое окно, у которого тот будет дремать в плетеном кресле с книжечкой Бодлера в руках. Мы закопаем его в рыжую глину насыпи, по которой пройдет трансамериканское шоссе, и над его костями будут проноситься бесчисленные автомобили тех, кому он хотел нравиться, кем желал повелевать, кого презирал и боялся и кто никогда о нем больше не вспомнит.

Гречишников все это время молчал, чуть прикрыв сухими пепельными веками оранжевые глаза, полагая, что из уст Копейко Белосельцев получает исчерпывающие сведения, необходимые на первых шагах. Но вот веки его поднялись, круглые глазки воззрились на часы с купидонами.

– Нам пора, – сказал он, вставая, – нас ждут в Кремле. Не следует опаздывать...

Белосельцев, не переспрашивая, ничему не удивляясь, вверяя себя товарищам, вышел из гостиной.

Глава четвертая

Они погрузились в знакомый «Мерседес» с молчаливым шофером в кепи. Поместились в него, как в замшевый мягкий футляр для дуэльных пистолетов. Пересекли Каменный мост, с которого Кремль казался уходящей в синеву горой с красными, белыми и золотыми ступенями. Повернули к Троицкой башне, где милицейский пост оглядел номера их глазированного лимузина, возжег зеленый огонь светофора, пропуская под каменный свод. Машина, похрустев по брусчатке, оказалась в Кремле, среди сияния дворцов и соборов, молчаливых куполов, в каждом из которых светилась золотая солнечная сердцевина. И в душе Белосельцева возникло давнее, никогда не исчезавшее чувство нежности, изумления, ожидания, словно вот-вот должно случиться чудо, и на эту черно-блестящую мостовую, вровень с колокольной Ивана Великого, с его сияющей золотой головой, опустится босоногий ангел в белых одеждах, прижимая к спине пышные дрожащие крылья, чтобы не задеть куполов и крестов, не смахнуть невзначай серебряные и золотые шлемы.

Автомобиль остановился на Ивановской площади, где уже стояли несколько дорогих тяжеловесных машин. Они вышли и двинулись через площадь к дворцу, мимо колокола и пушки, принадлежавших когда-то племени великанов – звонарей и артиллеристов, которые ушли из Москвы за Волгу, за Уральский хребет, в Сибирь, на Енисей, где окаменели, превратившись в Красноярские столбы.

Для Белосельцева Кремль был таинственным, родным, самым теплым и нежным местом земли, которое питало его, словно млечная материнская грудь, соединяло с бесконечной красотой и любовью, хранило среди кромешного бытия, не давая душе погрузиться во мрак. Детские рисунки с зубчатой стеной и башнями, над которыми горели огромные пятиконечные звезды и взлетали разноцветные букеты салютов. Новогодняя елка в Кремле, куда привела его бабушка, и он, запрокинув голову, смотрел на смоляное душистое диво, увешанное хлопушками и шарами, среди хрусталей и белого мрамора. Георгиевский зал с золотой геральдикой гвардейских полков, куда его приглашали на вручение наград, и он получал боевые ордена за афганский поход, за Кампучию и Африку, за разведоперацию в сельве Рио-Коко. Мистическое явление Кремля, когда он скрывался от зноя в подбитом вьетнамском танке на тайландской границе, в обугленной башне, среди ржавчины и пепла сгоревшего экипажа. На берегу океана, на белых песках Мозамбика, среди смертей и сражений, явился Кремль из зеленых туманных вод, возвращая силу и веру.

Он шел по Кремлю и мучительно чувствовал, что Кремль у него отобрали. Эти звезды и кресты были теперь не его. Во дворцах и церквях поселился враг, и солнечный блеск куполов, и белые камни соборов были покрыты едва различимой дымкой, словно плавала гарь, исходилось чье-то больное дыхание.

На парадном крыльце их встретили охранники, дружелюбно и почтительно поклонившиеся Гречишникову и Копейко как хорошо знакомым и уважаемым визитерам. Они стали подниматься по широкой пустынной лестнице. Белосельцев глядел на огромную, приближавшуюся картину в золоченой раме, где суровыми, сумрачными красками была изображена Куликовская сеча. Вспомнилось, как он смотрел на эту же картину много лет назад, поднимаясь среди множества торжественных депутатов в кремлевский зал, где проходила сессия и обсуждались планы и свершения страны. Прошли по дорогому паркету, под высоким озаренным плафоном. Сквозь бело-золотые приотворенные створки, словно ослепительная глыба льда с отблесками хрустального солнца, мелькнул Георгиевский зал. Приблизились к дверям, за которыми Белосельцев, волнуясь, ожидал увидеть знакомое пространство главного зала страны, с рядами дубовых кресел, со ступенчатым возвышением президиума, с резным гербом на тяжелой деревянной трибуне. С этой трибуны, перед черными чашечками микро-

фонов, на протяжении полувека, сменяя друг друга, читали доклады вожди. Зал, рукоплеская, вставал, глядел с обожанием на усатое лицо, на плотно застегнутый френч. И Ленин, высеченный из лунного камня, слабо светился в нише.

Дверь растворилась, Белосельцев ахнул, зажмурил на мгновение глаза. Не было строгих рядов, туманно-сумрачных ниш, деревянной трибуны с гербом, статуи из лунного камня. Блистал ослепительный зал из мрамора, малахита и яшмы. Сверкали драгоценные люстры. Золото било в глаза. Со стен свисали шелковые знамена и флаги, голубые атласные ленты. Фрески, картины украшали высокие стены. Уходили ввысь лепные потолки и плафоны. Черно-желтые, с цветами и листьями, блестели узоры паркета. Казалось, вот-вот грянет музыка, офицеры в белых лосинах, в серебряных и золотых эполетах влетят в ослепительный зал, закружат по паркету легконогих нарядных красавиц.

Белосельцев стоял изумленный. Казалось, половину Кремля, суровую, сумрачную, пропитанную железным духом эпохи, отпилили и куда-то унесли. А вместо отпиленной поставили новую, изготовленную мастерами драгоценных декораций, художниками костюмов, музейными собирателями гербов и старинных знамен. Зал, блистая позолотой и краской, казался склеенным из папье-маше, и хотелось подойти, тронуть пальцем малахит или яшму, чтобы почувствовать мягкость картона, клейкость плохо просохшей краски.

— В новые мехи новое вино, — усмехнулся Гречишников, заметив изумление Белосельцева. — Царя еще нет, а покои готовы...

Они прошли великолепное пустое пространство. Два охранника растворили перед ними новые двери, и они оказались в другом ослепительном зале, еще богаче и великолепнее первого. Белосельцев изумленно-испуганными глазами успел разглядеть возвышение с царским тронем и огромным пологом из горностая, просторные, полные солнца окна и, в пустоте, окруженный сиянием, овальный стол, уставленный яствами. Сидевшие за столом люди, легко узнаваемые, поразили Белосельцева, и он смотрел теперь только на них, желая убедиться, что это не актеры, играющие первых лиц государства, а сами эти лица, парящие в пустоте, с перевернутыми отражениями, чуть удлиненными и размытыми в льдистом паркете.

Зарецкий поместился в середине стола, как хозяин и заправила, жестикулируя, привлекая к себе внимание, и Белосельцев удивился его сходству с большой чернявой белкой, чей узкий череп покрывал линиялый, с плешинами, волос, узкие плечи переходили в длинные подвижные руки, удерживающие какой-то плод, то ли крупный орех, то ли сморщенный гриб, большие резцы в ощеренном рту были готовы грызть и точить, а выпуклые черно-вишневые, почти без белков глаза смотрели настороженно и часто моргали.

Подле него сидел Премьер-министр, с розовым, воспаленным, напоминавшим мятый распаренный корнеплод лицом, без подбородка, с выпуклыми щеками, маленькими холодными глазками, не перестававшими наблюдать и высматривать, в то время как детский румяный ротик смеялся чьей-то шутке, кажется, Зарецкого, которому Премьер что-то угодливо подкладывал на тарелку.

По другую руку от магната сидела молодая женщина с крепким, казавшимся мужским лицом, розовая от выпитого вина, налегая на стол сильной грудью, замечая, что на ее грудь с отпечатанными выпуклыми сосками смотрят участники застолья. Снисходительно, весело сощутив глаза, она слушала Зарецкого, высунув кончик языка, проводя им по верхней губе. Белосельцев узнал в ней младшую дочь Президента, показавшуюся здесь, в застолье, более женственной и привлекательной.

Тут же сидел щуплый, сутулый, похожий на богомола человек, свесивший на слабой шее длинную рыжеватую голову с лысым лбом и подслеповатыми глазками. Он мучительно улыбался, словно слышал невыносимые для себя высказывания, и только правила хорошего тона мешали ему встать и уйти. В этом замученном, с несовершенным сложением человеке

Белосельцев узнал могущественного главу президентской Администрации, откуда непрерывно истекали интриги и каверзные замыслы, пугавшие депутатов Думы, раздражавшие губернаторов, вызывавшие злые нападки язвительных журналистов.

Вольно развалившись на стуле, подбоченясь одной рукой, с удовольствием сытого и пьяного весельчака внимая застольным речам, сидел главный хозяйственник Президента. На его большом, красивом, начинавшем полнеть лице остро блестели маленькие плутоватые глазки. Они весело перебегали с Зарецкого на Премьера, с главы Администрации на президентскую дочь, словно их вид, а также еда, которую они поглощали, вино, которое они пили, доставляли ему наслаждение. Казалось, это он придумал поставить стол посреди великолепного зала, зажечь посреди стола свечи в серебряных подсвечниках, поместить у дверей служителей в старинных камзолах с галунами, в белых чулках и напудренных, завитых париках.

Еще один гость поставил на стол локоть, подпирая щепотью пальцев большую благородную голову. В белой манжете сверкала бриллиантовая запонка. Рука, белая, тонкая, с заостренными пальцами, розовыми ухоженными ногтями, небрежно касалась щеки. Умные, зоркие глаза внимательно озирали застолье. Сжатые, утратившие свежесть губы сложились в едва заметную презрительную усмешку. Это был известный художник, чьи выставки в Манеже собирали пол-Москвы, приходившей подивиться на огромные картины, похожие на кипящие котлы, в которых варились комиссары и белые офицеры, священники и красноармейцы, мученики царского семейства и жестокие вожди. В этом вареве рушились храмы, возводились железные капища, двигались окровавленные армии, бесновались развратные толпы. Теперь этот автор мистерий взирал на застолье, словно старался запомнить сидящих, чтобы поместить их на свой еще не законченный холст о царстве Антихриста. Сидящие позировали, не догадываясь, что их скоро нарисуют в виде уродливых и похотливых наездников, оседлавших ягодицы и спину Вавилонской блудницы.

Помимо тех, кого сразу узнал Белосельцев, присутствовали двое ему неизвестных. Густоволосый генерал в новом мундире, громко хохотавший, отчего во рту его загорались золотые зубы, словно он откусил часть купола на Успенском соборе и теперь пережевывал. И молча взиравший на шумное общество худой, очень бледный брюнет, завесивший шелковый галстук и черный атласный костюм белой салфеткой.

Все они не сразу обратили внимание на вошедших и еще минуту допивали и доедали, видимо, сопровождая вином и закуской произнесенный тост.

– А вот и моя безопасность! – воскликнул Зарецкий, воздевая руки, как конферансье, демонстрирующий выход артистов. – Бес опасный! – попытался он произнести каламбур и, чувствуя, что неудачно, повел рукой, отмечая неполучившуюся шутку. – Садитесь! – указал он на остававшиеся свободными места, возбужденный вином, на правах щедрого и своеговольного хозяина. Щелкнул пальцами, подзывая служителей, указывая на пришедших и тут же о них забывая. И пока наклонялась над бокалом черная французская бутылка, обернутая в белую салфетку, и золотились галуны на малиновом камзоле, Белосельцев, пользуясь невниманием к себе окружающих, стал наблюдать и слушать.

– Итак, достопочтенные господа и вы, наша блистательная дама. – Зарецкий склонил лысоватую, с желтыми проплешинами голову в сторону Дочки, блестя над ней черными веселыми глазами. – Не случайно мы выбрали для нашего торжества этот императорский дворец, ибо, если хотите, день рождения Татьяны Борисовны, который мы празднуем здесь, в самом торжественном зале России, является своеобразным венчанием на царство! – Глаза его смеялись, превращая в насмешку произносимые славословия, а длинные руки, узкая голова и подвижное сутулое тело двигались и возбужденно волновались, наподобие тонкой водоросли. – Русской государственности в переломные периоды было свойственно выдвигать на первые роли женщин, которые умели собрать вокруг себя блистательных мужчин, верных сынов Отечества, и направить их таланты и добродетели на служение Матушке-

России. Не боюсь впасть в преувеличение, но я нахожу прямое сходство между императрицей Екатериной и нашей блистательной Татьяной Борисовной. Государственный ум, смелость, способность сплотить таланты, понимание ближней и дальней перспективы – все это делает нашу именинницу дочерью своего отца, продолжательницей великих реформ, вершительницей великих деяний. – Глаза Зарецкого блеснули, тело сотрясало от беззвучного смеха. – В такие эпохи, как наша, одни люди сгорают дотла, превращаясь в горстку ненужного пепла. Другим, редчайшим, удастся уголь своей сгорающей жизни превратить в алмаз. Татьяна Борисовна принадлежит к последним. Она – бриллиант нашей политической элиты, и я счастлив моим подарком подтвердить это сравнение. – Зарецкий сунул руку в карман пиджака, извлек сафьяновый футляр. Как фокусник, показал его собравшимся, поворачивая разными сторонами, словно убеждая зрителей, что он пуст. Отворил его, и на черном бархате возникла ослепительная струйка бриллиантов, словно волшебная золотая змейка в солнечной чешуе, лежащая на темном камне. – Вашу ручку, августейшая Татьяна Борисовна! – Зарецкий, чуть кривляясь, с шутовскими смешными ужимками, но и с глубочайшим почтением, с нескрываемым обожанием укрепил на запястье именинницы драгоценный браслет, успевая оглаживать ее пальцы. Прижал к своим малиновым губам ее ладонь, продлив поцелуй на мгновение дольше, чем следовало бы, позволяя собравшимся отметить это многозначительное страстное промедление.

Все поднялись и стали чокаться бокалами, шампанским. Дочь держала над столом хрустальный бокал, приветливая, милостивая, позволяя любить себя, восхищаться собой. Она рассылала верноподданным бриллиантовые лучи своей власти и славы.

Почти без перерыва, не давая источиться возникшему в застолье воодушевлению, поднялся Премьер. Сдержанный и деликатный, осознавая свое достоинство и значение и одновременно тонко чувствуя свое место среди влиятельных персон, он стал говорить. Слегка ироничный, немного развязный, однако собранный и чуткий внутри, премьер зорко озирает лица, наблюдая, не возникнет ли на них тень неудовольствия и раздражения от его жестов и слов. Он был готов тут же отступить и стушеваться, если таковая появится.

– Мне, собственно, почти нечего добавить к вышеизложенному, где дана самая высокая аттестация достоинств Татьяны Борисовны. Как русский офицер, должен заметить, что служение для меня есть естественная потребность, подкрепленная воинской присягой. И я, пусть это подтвердят знающие меня, не изменял ей никогда. Служить под началом нашего Президента есть высшая для меня честь, а пользоваться расположением Татьяны Борисовны – высшая для меня награда. Мне думается, что в случае, если меня поддержат мои уважаемые коллеги и друзья, мы бы могли разработать законопроект о преемственности власти, аналог акта о престолонаследии, и добиться принятия Думой закона. Повторяю, для меня не будет выше чести и награды, чем возможность служить под началом Татьяны Борисовны. За что и предлагаю поднять наши звонкие бокалы!

Он быстро осмотрел всех круглыми настороженными глазками, проверяя, не наговорил ли лишнего, так ли были поняты его льстивые шуточки, не переборщил ли он с выражением преданности. Перед тем как поднести хрустальный бокал к маленькому вялому рту, сделал знак стоящему у дверей служителю. Тот на мгновение исчез, вернулся к столу, неся нарядную, золоченую, в драгоценных камушках шкатулку. Премьер принял шкатулку, нажал в ней какую-то кнопку, ящичек с мелодичным звоном раскрылся, из него выпорхнула крохотная, выточенная из слоновой кости балерина и под переливы хрустальной музыки стала кружить, поворачивая во все стороны хрупкую ножку. Премьер с поклоном передал подарок имениннице, и та с любопытством, приоткрыв от удовольствия влажные губы, стала рассматривать забавную шкатулку. Затем благодарно коснулась плеча Премьера.

Все пили шампанское, тянули из блюд лепестки красной рыбы, розовые ломти языка, рассеченные надвое яйца с горкой красных икринок. Балерина в драгоценной шкатулке продолжала танцевать и кружиться.

Поднялся Главный Администратор, столь слабый телом, что казалось, его изможденная шея и хилые плечи едва удерживают тяжелую лысую голову с остатками рыжей расцветительности. Он держал ножку бокала двумя руками, словно боялся, что не справится с тяжестью хрусталя, и прежде чем начал говорить, некоторое время шевелил губами, словно вспоминал, как произносятся забытые слова.

– Помимо всех перечисленных достоинств, которыми природа щедро наделила нашу дорогую именинницу, я бы особо отметил еще одно, быть может, необязательное для красивой женщины, но абсолютно необходимое для государственного деятеля. Это бесстрашие, умение рисковать и идти до конца во имя поставленной цели. – Администратор, похожий на богомола, поймавшего в лапки добычу – хрустальный бокал, – произнес эти слова шелестящим, будто шелушащимся голосом, напоминавшим ржавчину, такую же рыжую и сухую, как и его желтоватые, местами сохранившиеся волосы. – Мы пережили много трагических, предельных минут, когда решалась судьба страны, судьба власти, наша личная судьба. Кровавый коммуно-фашистский путч. Чеченская война. Последние президентские выборы, совпавшие с опасной болезнью Президента, повлекшей за собой операцию на сердце. Во всех перечисленных случаях власть качалась на шатких весах, нам грозила смертельная опасность. И всегда Татьяна Борисовна проявляла отвагу, жертвенность, неутомимость, и часто благодаря ее воле и оптимизму мы исправляли безнадежную ситуацию. За нашу воительницу, за русскую Жанну д'Арк!

Он поднял двумя руками бокал, как священник подымает дароносный сосуд. Сделал служителю знак выпуклыми, печально увлажненными глазами, и тот поднес к столу старинный кокошник, шитый золотой нитью, украшенный речным жемчугом, который переливался нежным теплым перламутром.

– Позвольте, Татьяна Борисовна, я увенчаю ваше чело этим древним русским убором.

Он отпил шампанское, осторожно поставил бокал и, выйдя из-за стола, так же осторожно поместил кокошник на голове именинницы. Та распрямила плечи, приподняла подбородок, свежая, властная, полная соков и сил, поводя блистающими глазами, дыша белой шеей и полуоткрытой грудью. Все аплодировали стоя, а Главный Администратор, довольный, осторожно вернулся на место, схватил вилкой вкусный, скользкий грибок.

Хозяйственник Президента, которого за глаза многие любовно называли Плут, наслаждался обильной сладкой едой, разносолами, выпивкой, вкушая не просто яства, но и речи, казавшиеся такими же аппетитными и вкусными, как и сама еда. Приподнял свое тучное тело, облаченное в тонкий дорогой костюм, и жестом опытного застольного декламатора повел рукой, привлекая к себе внимание. Радостно и любовно заморгал лукавыми искристыми глазами.

– Это все, – распахнул он руки, уместая в объятия роскошный зал с гербами, знаменами, золоченой геральдикой, с резным троном и горностаевым пологом, – это все я готовил для вас, для народа, для России. Кто-то говорит, что это-де слишком дорого, не по карману, когда кругом такая разруха и голодуха. Но это, скажу я вам, обычное лицемерие. Люди в своей бедности, в напастях, из темных углов придут сюда и радостно ахнут: «Вот она, Россия! Жива, сильна, царственна! Значит, можно и потерпеть, когда-нибудь и у меня будет радость!» – Плут поправил на животе расстегнувшуюся рубашку, из которой выглядывал полный живот с крупным пупком. Не смущаясь, зная, что его любят, ценят, глядят сквозь пальцы на его плутовство, он поднял бокал, обводя им золотые нимбы, гербы городов и княжеств, лучистые люстры. – Уважаемая Татьяна Борисовна, видит Бог, когда я торопился построить этот императорский зал и приглашал сюда лучших ювелиров, краснодеревщиков, скульпторов,

я мечтал, что успею к вашему дню рождения. Я подымаю бокал в сердце Кремля, желаю вам счастья и повторяю слова запорожцев в адрес Екатерины Великой: «Будь здорова, как корова, плодovitа, как свинья, и богата, как земля!»

Мужским плотским взглядом он осмотрел именинницу, ее открытую белую шею, выпуклую шаровидную грудь, вылепленные под тканью соски. Та благосклонно улыбалась, мерцая жемчужным кокошником, и соски ее еще больше набухли под шелком.

Служитель в белых чулках и завитом парике внес подарок – старинную икону Параскевы Пятницы, издали показывая гостям смуглый лик, тускло-золотой круг, алое облачение.

– Покровительница торговли и строительства. – Плут передал икону имениннице, предварительно поцеловав старинное дерево влажными от еды губами. – Будем торговать, будем строить, будем молиться.

Именинница приняла подарок, перекрестилась, приложила к образу, и служитель отнес подарок к маленькому столику, бережно уложил рядом с другими подношениями.

Следующим говорил Художник с утомленным лицом умного царедворца. Его прищуренные глаза смотрели жестко и холодно на эпикурейское сборище, собравшееся среди имперского величия, воссозданного по его эскизам и рисункам. Он, рисовавший множество правителей и властелинов, которые бесследно исчезли из жизни, но сохранились на его парадных портретах, теперь был среди новых хозяев жизни, пригласивших его на пир. Когда-нибудь он поместит это застолье на свой огромный холст, положит на стол перед пирующими огромную отвратительную ящерицу, на голову именинницы вместо кокошника повяжет черную гремучую змею, Администратору в растворенных губах нарисует два кровавых клыка, карманы Плути будут туго набиты ворованными купюрами, Зарецкий будет держать на коленях голенький трупик задушенного им ребенка, на Премьере генеральский мундир будет надет на голое тело, а ляжки под столом будут женские, пухлые, с приоткрытым золотистым лобком. Но все это будет позже, когда присутствующие потеряют власть и влияние. Теперь же его выцветшие губы сложились в тонкую почтительную улыбку, и он с аристократическим поклоном обратился к виновнице торжества:

– Великие женщины России всегда были ревнителями искусств. Вы, уважаемая Татьяна Борисовна, служите России в том числе и на поприще искусств. Когда Мэр, невзлюбив меня, отказал мне в Манеже, и тысячи москвичей, ожидавших открытия моей выставки, были горько разочарованы, вы, Татьяна Борисовна, замолвили слово перед Президентом за скромного художника, и Москва две недели выстраивалась перед Манежем в тысячную очередь. Один очень тонкий наблюдатель заметил, что по отношению человека к моим картинам можно судить, как этот человек относится к России. Ваша любовь к России несомненна, и русские художники ожидают от вас дальнейших благодеяний.

Он махнул служителям, и те, распахнув узорные двери, внесли портрет в тяжелой золоченой раме. Дочь Президента была изображена в бархатном синем платье, с высокой прической. Ее строгое, надменное лицо выражало властолюбие и потаенную страсть, а на белой руке, на запястье, красовался бриллиантовый браслет, точно такой же, что недавно подарил ей Зарецкий.

Все ахнули, стали любоваться портретом, сравнивать нарисованные бриллианты с настоящими. Дочь встала из-за стола, подошла к Художнику, поцеловала его в бледную, слегка отвислую щеку. Тот верноподданно поклонился, осторожно прижал к губам ее пальцы.

Застолье продолжалось. Златозубый генерал подарил Дочери кавказскую серебряную вазу с узкой горловиной и черненым узором, сказав, похотывая, что эта ваза принадлежала царице Тамаре и та, перед тем как идти на свидание к очередному возлюбленному, пила из нее любовный напиток. Бледнолицый брюнет с длинными артистическими волосами оказался французским архитектором, проектирующим на Лазурном Берегу виллу для именин-

ницы. Он подарил ей фломастер, который якобы принадлежал Корбюзье, на ломаном русском пригласил ее весной на Средиземное море справлять новоселье.

Белосельцев, едва лишь вошел и был приглашен к застолью, испытал мучительное изумление, большое непонимание: почему его привели в этот зал и сделали свидетелем сокровенной встречи? Ему, чужаку, показали закулисную сторону власти, куда не проникал посторонний глаз. Дали подсмотреть придворную сцену, один лишь кадр из которой стоил целого состояния. Кому из присутствующих было важно его появление? Кто из сидевших за овальным столом с яшмовой тяжелой доской и гнутыми золочеными ножками поручился за него, был гарантом его преданности, дал ему охранную грамоту? Пришедшие вместе с ним Гречишников и Копейко чувствовали себя среди своих, вступали в разговоры, смеялись, наливали в хрустальные бокалы шампанское. Белосельцев вставал вместе со всеми, протягивал над столом тяжелый, в золотых и лиловых отблесках бокал, слышал, как продолжают нежно гудеть от удара звонкие стенки.

Он стоял теперь с налитым бокалом, среди горящих свечей, нарядных тарелок, хохочущих возбужденных людей, к которым склонялись почтительные слуги в камзолах, с напудренными париками, и вспоминал, как много лет назад в строгом зале съездов, быть может, в той же точке пространства, он подымался вместе с тысячей рукоплещущих депутатов, приветствуя появление в президиуме правительственных и партийных вождей. Их темные пиджаки, чопорные одинаковые галстуки. Медлительный косноязычный старец, двигая тяжелым каменным ртом, читал с одышкой доклад, где рассказывалось о строительстве новых городов в Заполярье, о создании боевых кораблей и подводных лодок, о производстве урана и алюминия, о победе национальных движений на континентах Африки и Америки, откуда только что вернулся он, Белосельцев, загорелый, изможденный, с незажившей под рубахой раной, с орденом на груди. Он стоял теперь в той же точке пространства, где была испепелена огромная эра, свернулась, словно пыльный ковер, и была унесена прочь история его жизни. Невидимый, насмешливый и злой режиссер, изобретательный, как Мейерхольд, поставил его в бутафорский расцвеченный зал, перед муляжами гербов, перед пластмассовым тронном, размалеванным бронзовой краской, над которым свисал искусственный мех, раскрашенный под горностаю. Кому понадобился этот жестокий театр, в котором он играет роль страдальца с помутненным рассудком?

– Мне кажется, и пусть меня поправят, если я заблуждаюсь, нам бы следовало слегка придержать финансовые потоки на Кубань, к Кондратенко. – Премьер промокнул крахмальной салфеткой маленький, как у улитки, рот, приготовив губы, влажные от еды и велеречивых слов, к серьезному разговору. – Батяка Кондрат своими антисемитскими высказываниями, дикими, на всю Россию, заявлениями о «жидах», становится опасен. Его влияние растет, и казачий юг России приобретает в его лице национального вождя, готовящего денкинский поход на Москву. Мне кажется, с этим больше невозможно мириться. Его следует наказать рублем. Пусть к его резиденции придут голодные пенсионеры, безденежные учителя и матери-одиночки, и он им расскажет о «жидах». – Премьер победно улыбнулся, довольный своей изобретательностью и изощренным чутьем, угадывающим царящие за столом настроения. Однако его настороженные стеклянные глазки продолжали бегать от Зарецкого к Администратору, останавливаясь на мгновение на Дочери, от которой он ожидал одобрения.

Дочь бережно сняла с головы жемчужный кокошник, вручая его подоспевшему служителю, этим самым давая понять, что праздничная программа выполнена и можно приступить к обсуждению государственных дел, во имя которых они и собрались в тронном зале Кремля.

– Я думаю, это рискованно и несвоевременно, – произнесла она задумчиво, прозревая всю глубину возможных последствий. – В ответ на это строптивый Батяка может задержать у себя урожай кубанской пшеницы, что создаст угрозу голода в других регионах. К тому же Кондратенко станет мешать прокладке нефтепровода к новороссийским терминалам, а это больно ударит по нашим дружественным нефтяным компаниям. – Она многозначительно взглянула на Зарецкого, перехватившего ее взгляд и склонившего в знак согласия узкую беличью голову. – Я бы на месте правительства выплачивала ему деньги в полном объеме, но при этом просила бы ФСБ следить за их целевым использованием. В случае нарушений, что неизбежно, завела бы уголовное дело. Контроль рублем я бы заменила контролем спецслужб, которые смогут оказывать на Батяку-антисемита мягкое и эффективное давление. – Она завершила фразу и стала разглядывать бриллиантовый браслет, любясь переливами света, позволяя остальным любоваться переливами изреченной мысли.

– Хотел посоветоваться. – Администратор молитвенно сжал у груди длинные сухие ладони, будто вымаливал совет у молодой властительницы, привыкшей облекать свои приказания в форму мягких дружественных советов. – Накануне голосования в Думе мы, как водится, провели профилактику депутатов, не выйдя за пределы установленных сумм. Ну, Жириновский, разумеется, взял все деньги разом, в одном конверте, не делясь со своим поголовьем. Коммунисты всегда берут стыдливо, с опаской, меньше, чем им выделяют, не зная себе цену, однако необходимое число голосов мы среди них наберем. А вот «Яблоко» по-прежнему сохраняет девственность, берет не деньгами, а исключительно министерскими портфелями. Может быть, я думаю, посулить Явлинскому пост премьера в следующем кабинете и держать его на этом крючке вплоть до голосования по бюджету? – Администратор умоляюще посмотрел в сторону Премьера, чье мятое бабье лицо от возмущения покрылось малиновыми пятнами. – Это не более чем уловка!.. Червячок для Явлинского!..

У Дочери возмущение Премьера вызвало едва заметную улыбку удовольствия, в которой сквозило легчайшее презрение к слабохарактерному несмелому человеку, чье лицо, пропитанное дурным розовым соком, как перезрелая, начинавшая бродить ягода, выражало смятение.

– То, что вы делаете с бедным Явлинским последние несколько лет, должно закончиться для него психиатрической клиникой, – сказала она, тронув Премьера за локоть, успокаивая, давая понять, что он по-прежнему в милости. – Бедный, он так стремится стать Премьером, а потом Президентом, так пылко об этом мечтает, репетируя перед зеркалом присягу на Конституции, что, когда в очередной раз проигрывает, с ним случается срыв, он рыдает, у него появляется тик, раздвоение сознания и он исчезает из политики на целое время года.

Она засмеялась своей шутке, остальные вторили ей. Плут от удовольствия щурил синие глазки. Военный гоготал, держа в зубах кусок позолоты. Художник тонко улыбался выцветшими губами, переносил их всех на невидимый, еще не написанный холст.

– Еврей, который хочет стать Президентом России, является врагом всех евреев, – зло произнес Зарецкий, жадно выпивая бокал. Дочь перестала смеяться, внимательно на него посмотрела.

– Прошу меня извинить, что я опять со своим. – Густоволосый генерал казалось сжевал и проглотил кусок золоченой кровли. – Может быть, я и не прав, но слухи относительно командующего Дальневосточным округом подтверждаются. Скрытый коммунист, ведет в войсках пропаганду. Высказывается в защиту сербов, хочет возглавить русский экспедиционный корпус на Балканах. Его опасно держать на таком посту. Все-таки у нас на востоке развернута одна из самых больших группировок. Я бы еще раз хорошенько его проверил да и отправил в отставку, чтоб не мутил воду. А то ведь в войсках сами знаете какая обстановка. Много недовольных офицеров. – Лицо генерала, минуту назад дурацкое и хохочущее,

приобрело мстительное и жестокое выражение, словно крамольно мыслящий командующий был его личным врагом и генерал сводил с ним какие-то давние счета.

Дочь обдумывала навет генерала, и ей, по-видимому, доставляла удовольствие мысль, что в ее силах вершить самые ответственные и деликатные дела государства. Однако это требовало обдумывания. Невозможно было рубить сплеча. И она обдумывала, придав лицу многозначительное, углубленное выражение, позволяя остальным наблюдать, как созревает в ней решение.

– Его нельзя отправлять в отставку, – произнесла она, когда воцарившееся молчание позволило ей наконец отыскать взвешенное решение, – он слишком влиятелен в войсках. Его отставка вызовет разнотолки не только у нас, но и в Китае, и в Японии. Я слышала, освобождается вакансия начальника Академии Генерального штаба. Вот туда его и назначим. От войск подальше, к нам поближе. Вы ведь сами говорили, что Академия в условиях сокращения войск готовит комдивов и командармов для несуществующих дивизий и армий. Вот и пусть формирует добровольческий полк из безработных генералов, едет с ними добывать Милошевичу Косово.

– Татьяна Борисовна, вам бы стать министром обороны, честное слово! – восхитился генерал, вновь, казалось, отгрызая невесть откуда кусок золота, то ли от двуглавого орла на троне, то ли от золоченого канделябра. – А то нынешний больно плох, одним ухом не слышит, одной ногой не ходит! – И захохотал, приглашая остальных потешиться над престарелым глуховатым маршалом, кого в войсках называли «дедуська».

– Ну уж если мы злоупотребляем временем, отведенным на праздник, и отвлекаем именинницу на решение государственных дел, – Администратор свесил голову на тщедушной шее так, словно его взяли, как нашкодившего котенка, за загривок и готовились выкинуть за дверь, – я бы хотел обсудить кандидатуру на Государственную премию по литературе. Вчера был в московском Пен-клубе, и там в один голос назвали замечательную книгу нашего известного писателя. – Администратор замолчал, пошлепав большими губами воздух, словно тренируясь перед тем, как выговорить трудное имя, а потом назвал писателя, чью книгу о судьбе гомосексуалиста, страдающего от непонимания и одиночества, азартно обсуждали газеты и журналы и по которой уже начал сниматься фильм с известной рок-звездой в главной роли. – Мне кажется, присудив эту премию, мы исправим несправедливость по отношению к сексуальным меньшинствам, страдающим от общественного порицания и церковного осуждения. Привлечем на свою сторону многих талантливых режиссеров, художников, модельеров, ждущих с нашей стороны подобных знаков внимания.

– Почему же только художников и модельеров? – Зарецкий зло хохотнул, ударив в хрустальный бокал зубами. – По-моему, многие в Администрации Президента воспримут эту премию как личную удачу! – И увидев, как в подслеповатых глазах Администратора вспыхнули зеленоватые огоньки ненависти, сделал рот бантиком и стал поводить плечами, изображая кокетливую женщину, намекая на известную всем аномалию Администратора.

Дочь с веселой гримасой наблюдала эту комическую, длившуюся несколько секунд сценку.

– Я думаю, повременим с присуждением премии. Мы должны дорожить нашими отношениями с Церковью. Хотя, как мы знаем, некоторые церковнослужители не уступят своими романтическими наклонностями самому Версаче. Я бы предложила другого писателя. – Она назвала имя прозаика, считавшегося последователем Юрия Трифонова. – Рекомендую его книгу о герое современного духовного подполья, в котором каждый из нас в той или иной степени узнает себя.

Она улыбалась, глядя остановившимися глазами в одну точку, на хрустальный подсвечник, словно мысленно погружалась в свое духовное подполье, где, невидимые миру, копились страсти и страхи, невыявленные пороки и неосуществленные добродетели. Все

молчали, не мешая ей перемещаться вниз по вертикали на самое дно души, где та соприкасалась с преисподней. Были счастливы, когда она вынырнула наконец из бездны, снова оказалась с ними, среди роскоши кремлевских палат, за богатым столом, уставленным яствами и напитками.

Белосельцев боялся верить, что его допустили в самую сердцевину власти, где влажными от рыбьего жира губами, под дурные намеки и гнусные шуточки, принимают решения, от которых возносятся и гибнут карьеры, исчезают могучие армии и гаснут научные школы, нефть по огромной черной трубе, мимо остывших городов и голодных селений, утекает за море, и на этой трубе, как на спине огромного змея, восседает голая блудница в жемчужном кокошнике, сдавливает похотливыми ляжками сплюснутую головку с мокрым языком и мигающими подслеповатыми глазками. К ее возбужденным соскам с сопением и чмоканьем припали плуты и мздоимцы, придворные брадобреи и лекари. Они сучат козлиными ножками, сосут из блудницы фиолетовое, пахнущее формалином молоко, и служители в париках и камзолах отирают их булькающие липкие рты.

Он хотел понять, чего желают соратники, заманившие его в этот помпезный зал, напоминающий позолоченную маску на лице мертвеца. Но Гречишников и Копейко, забыв о нем, с удовольствием поглощали вкусную еду, оживленно беседовали с соседями по столу. Белосельцев заметил, как с розовой куропатки, которую переносил в свою тарелку Копейко, упала на малахитовый стол жирная капля.

– Пользуясь случаем, Татьяна Борисовна, как говорится, к столу будь сказано, – Плут щурился, рассылал во все стороны синие счастливые лучики, – не пора ли вашему уважаемому батюшке подписать президентский указ о строительстве зимней резиденции под славным городом Клином? Место изумительное – холмы, леса, трамплин, горнолыжная трасса. Тут же рядом охотхозяйство, подледная рыбалка. Сам ездил, осматривал. Проект резиденции готов. Не так ли, господин Дюран? – Плут повернулся к французу-архитектору, чье бледное лицо от выпитого вина не обрело румянца, но источало голубоватое лунное свечение. – Смета готова. Фирма-изготовитель проверена. Может, сделать кремлевский зал, или, если пожелаете, синагогу, или египетскую пирамиду, или виллу на Ривьере. Я, грешным делом, подумал, зачем ездить куда-то в швейцарские Альпы, когда рядом, почти под Москвой, своя Швейцария, только лучше. Тут тебе и слалом, и охота на лося, и теплый бассейн, и апартаменты по шестизвездочному стандарту. Давайте построим, Татьяна Борисовна! У каждого царствования своя архитектура и памятники!

Он радовался своему умению придать серьезному деловому предложению видимость веселой шутки. В застолье, на ходу, между прочим, в жаркой бане или в охотничьей сторожке ловко заключить рискованную сделку, устранить многотрудную проблему, уломать несговорчивого партнера, перехитрить осторожного конкурента, приумножить достояние своего кремлевского ведомства, насчитывающего множество пансионатов, оздоровительных баз, правительственных резиденций, курортов, больниц и лечебниц, куда съезжалась избранная, окружавшая Президента знать, укрываясь от назойливых глаз. Отдыхала, забавлялась, устраивала потехи, травила борзыми волка, била из карабина медведя, пускала фейерверки, гоняла на снегоходах, учиняла праздники на воде, погружалась в бурное пьянство, впадала в бесчинства и оргии, после которых сгорали дотла охотничьи домики и коттеджи, джипы с охраной увозили пьяных изможденных женщин, а доверенная служба безопасности прятала в капроновые чехлы, задерживала длинными молниями неопознанные, безымянные трупы.

– Может, кто-то и разрушал эти годы Россию, а уж мы в нашем ведомстве строили, как никто. Как при Петре и Екатерине Великой, дворцы и усадьбы!

Плут озирает гостей, ожидая одобрения от благодушной именинницы. Но та вдруг потемнела лицом, гневно подняла глаза, и на ее лбу пролегла злая тяжелая складка.

– Не хватит ли этих проверенных фирм-изготовительниц, от которых не отмыться, как от дерьма! Может, пора поумерить аппетиты, чтобы не лопнуть! Алексашка Меншиков и дворцы строил, и казну воровал, но ведь получал от царя затрешины! Вы втянули меня и отца в эти швейцарские дрязги, от которых идет гул по всем мировым газетам. Ничего не скажешь, вы дали отличный козырь врагам отца и врагам России, впутав меня в свои махинации. Вчера, когда отцу докладывали о ходе скандалов, связанных с этими кремлевскими залами, – она ненавидяще оглядела люстры, гербы и знамена, словно швырнула все это в испуганную и огорченную физиономию Плута, – когда ему читали вырезки из «Монд», «Шпигель» и «Нью-Йорк таймс», с ним случился приступ, и мы хотели снова везти его в Центральную клиническую больницу! Это ты, – она резко повернулась к Зарецкому, произнеся грубое площадное ругательство, – ты втравил меня и отца в свои дерьмовые махинации, чтобы связать нас одной веревкой и утопить вместе с собой. Не выйдет! Веревку обрежем, тони один! Многие у нас и за границей порадуются, увидев, как в твой труп впиваются раки! Да вот беда, – Дочь криво ухмыльнулась, цокнула ртом и полезла отточенным ногтем доставать из зубов застрявшую рыбку косточку, – ты все не тонешь, потому что легче воды!..

Зарецкий вздрогнул от оскорбления. Из суетливой белки превратился в малинового пятнистого осьминога с фиолетовыми выпученными глазами, жестоким нацеленным клювом. Казалось, из него во все стороны полезли ядовитые, усыпанные присосками щупальца, готовые впиться в обидчицу, впрыснуть в нее чернильный яд. Но он, вибрируя телом, большими конвульсиями вобрал в себя щупальца. Он сидел, мелко сотрясаясь, переваривая чернильные яды. Из жестокого моллюска снова превратился в злую, рассерженную белку.

– Не могу понять, как произошла утечка, – проговорил он, поворачиваясь к Копейко. – Мы спрятали все концы в офшорных зонах, засекретили банки, сделали переводы на подставные фирмы. Нигде не фигурировали имена, объекты и суммы. Неужели против нас работает ФСБ? Неужели долбаная служба работает против самого Президента? Неужели деньги, которые я закачиваю в этих поганных разведчиков, оборачиваются против меня? Сколько мы можем терпеть этого слюнявого директора во главе ФСБ? Он ведь враг, враг! Пора его вышвырнуть вместе с Прокурором и Мэром, пока они не спровоцировали импичмент!.. – Зарецкий последние слова произнес с тонким тоскливым вскриком. И, чтобы вернуть самообладание и скрыть появившуюся на губах пенку, он жадно, залпом выпил бокал шампанского, показывая служителю, что бокал его пуст.

– Мы обсуждали эту проблему, – смиренно сказал Копейко, – она сводится к тому, чтобы в ФСБ произвести замену директора.

– Не только директора! – Довольный тем, что гнев именинницы лишь краем его ошпарил, а весь пышный, душный удар огнемата пришелся по узкой плешивой голове Зарецкого, Плут изобразил высшую степень негодования, его полные, мясистые щеки стали похожи на две фляги с вином, губы оттопырились и задрожали, и только лукавые глазки искрились в глубине синим бисером. – Не только долбаного директора, но и долбаного Прокурора, и долбаного Мэра, и долбаного Астрона, вашего, я извиняюсь, недавнего друга! – Плут едко посмотрел на Зарецкого, желая его уязвить. – Президент столько им сделал добра, столько прощал, из рук кормил, а они, как неблагодарные суки, стали его кусать.

Премьер, испуганный нежелательным для него поворотом событий, боясь, что его заставят участвовать в щекотливом разговоре, произнес:

– Неблагодарность к благодетелю – самый тяжкий грех на земле. Великий Данте поместил грешника, предающего своего благодетеля, в центр ада, где сидит сатана и грызет зубами неблагодарного. Пусть меня поправят, но, мне кажется, наступило время унять Прокурора. У нас на глазах происходит подрыв государственной власти, а мы непрестительно бездействуем. Я, как русский офицер, верен до конца Верховному Главнокомандующему. Пусть мне поручат, и я создам закрытый штаб, где мы изучим проблему. – Он мямлил, его

розовое экземное лицо стало серым и дряблым, как «дедушкин табак», который рассеял по ветру горчичную пудру и мятыми кулками истлевает на овражных склонах.

– Ненавижу предателей! – Лицо Дочери огрубело, на нем выступили белые хрящи, малиновые воспаления. Оно отяжелело, стало почти мужским, в набрякших складках и линиях, в маленьких оспинах и пятнах пигмента. По этим внезапно проступившим чертам можно было судить, какой она будет в старости, когда исчезнут молодая припухлость щек и сочная женственность губ.

Все, кто сидел за столом, испугались того, как стала она похожа на своего отца. И только Художник, знающий законы преображения плоти, читающий маски смерти на лицах юношей, угадывающий былую красоту на изуродованных старостью ликах, спокойно и зорко, словно в анатомическом театре, изучал новый образ разгневанной женщины, перенося его на невидимый холст.

– Ненавижу! – повторила она. – Когда отец был здоров и в силе, они ползали перед ним по земле, целовали его ночную туфлю... Помню, Мэр приехал поздравить папу на Новый год. У нас гостила племянница, совсем малютка. Мэр опустился на четвереньки, стал изображать собаку, лаял, хватал зубами папу за брюки... Отец, вы знаете его шуточки, желая повеселить девчущку, кинул Мэру на пол говяжью кость, и тот, что бы вы думали, схватил ее по-собачьи и стал грызть!.. Теперь, когда папа слаб, болеет и мы все боимся, что он умрет, они на него ополчились! Травят, науськивают народ, оскорбляют прилюдно. Этот тайный блудник Прокурор, от которого веют тлетворные ветерки порока, – он готов завести на отца уголовное дело! Этот мерзкий жид Астрос, которому мы подарили телеканал, продали за копейки, в благодарность поливает нас грязью. У них одна мечта – отстранить отца от власти, выдать нас толпе, чтобы с нас сорвали одежды, стали топтать ногами, как Чаушеску! Или посадить всей семьей в клетку, в Ипатьевский дом, и держать там до расстрела!.. Это ужасно, ужасно! – Она закрыла лицо ладонями, и все подумали, что она зарыдает. Но слезы не достигли глаз, расточились по сосудам и венам. Она отняла от лица руки, сидела прямая, с покрасневшими веками, с пульсирующей синей жилой на шее.

Белосельцеву не было ее жаль. Он испытывал к ней гадливость, чувствуя ее несвежую, близкую к увяданию плоть, скрытые под дорогим платьем и тонким бельем запахи, болезненные выделения, слизистые покровы, требующие постоянного возбуждения и утоления. Ее страхи, семейное горе, близкие рыдания среди имперских знамен и штандартов, хрусталей и уральских самоцветов были смехотворны на фоне умирающей огромной страны. Невидимая за высокими кремлевскими стенами страна издавала непрерывный стон, словно выброшенный на отмель огромный кит, которому бессчетные птицы и гады выклевывали глаза, выедали внутренности, выгрызали в ребрах кровоточащие дыры. Белосельцев расценивал страдания Дочери как признаки надвигающегося неумолимого возмездия, которое настигнет ее вместе с отцом то ли через Прокурора, то ли через вирус СПИДа или болезнь Паркинсона. Он радовался, почти ликовал, ибо был свидетелем того, как реализуется теория конфликтов, о которой час назад поведал ему Копейко. Конфликт был налицо, он разрастался, пробивал в монолите власти змеистую трещину, куда, расширяя и углубляя ее, будет введен Избранник.

Высокие двери зала, украшенные гербами, золотыми кирасами, греческим меандром, растворились, и в зал вошел человек. Никто не обратил на него внимания. Он был невысок, ладен, в скромном сером костюме. Его лицо было спокойно, приветливо. Светлые глаза внимательно, без удивления осмотрели застолье, к которому он двинулся по паркету легким шагом, взмахивая правой рукой чуть сильнее, чем левой. Приблизился к насупленному, отяжелевшему от выпивки Плуту, наклонился и что-то сказал ему в ухо. Плут кивнул, ткнул пальцем в стоящий рядом пустующий стул, и вошедший послушно опустился рядом. Он не потянулся к шампанскому, не притронулся к вкусной еде. Молча, слегка улыбаясь, стал при-

слушиваться к разговору, стараясь уяснить для себя, в чем суть охватившего всех раздражения, как затронуты интересы и чувства присутствующих.

Белосельцеву показалось разительным его отличие от страстных, властолюбивых персон, каждая из которых сверяла свою величину и значение по влиянию и значению соседа, чутко следя за тем, чтобы неверным словом и жестом не была нарушена невидимая табель о рангах. Шутили, злословили, позволяли себе вольности и скабрёзности, но при этом чутко соотносили себя с властной всеильной женщиной, способной среди смеха и возлияний учесть интересы каждого, каждому, по его заслугам и преданности, воздать своей милостью и расположением. Вошедший человек не был включен в эту невидимую иерархию. Был посторонен, асимметричен. Из иного чертежа отношений. И этим привлек Белосельцева.

– Кто это? – спросил он у сидевшего рядом Гречишникова.

Тот промолчал, передавая архитектору Дюрану блюдо с фиолетовым виноградом.

– Кто этот маленький человек, похожий на шахматного офицера, вырезанного из слоновой кости? – повторил вопрос Белосельцев.

Гречишников дождался, когда француз положит на тарелку тяжелую матово-фиолетовую гроздь. Поставил на место стеклянное блюдо с плодами. Повернулся к Белосельцеву и тихо сказал:

– Это Избранник.

Глава пятая

Белосельцев был поражен. Избранник явился без звука, без колокольного звона, без гонца и предтечи, возвещавшего о его приближении. Прошел по слюдяному паркету, как по тонкому льду, в который были вморожены золотистые цветы и листья. Лед выдержал его легкую поступь, не прогнулся, не хрустнул, словно вошедший был невесом. Он сидел за столом на пиру нечестивых, и мерзость застолья, скверна произносимых речей не касались его. Он был тих и невнятен, как дремлющее зерно. Таил в себе будущий урожай, несуществующее грозное время, к которому готовили его хлебобобы. Будущее, которое в нем содержалось, могло проявиться мятежами и войнами, невиданной грядущей победой или необратимым поражением. Белосельцев старался поймать у Избранника слабый жест, мгновенное выражение лица, невзначай произнесенное слово, чтобы угадать, каким будет будущее. Но зерно молчало, окруженное едва заметным свечением, терпеливое, тихое, уложенное в осеннюю землю, чтобы пролежать под снегом долгую зиму, вытерпеть бураны и льды, жестокие январские звезды, уцелеть до весны и с первым ручьем и теплом кинуться в рост.

Белосельцев был счастлив, что Избранник, находясь среди коварных врагов, ничем не обнаружил себя. Оставался ими неузнан. Был окутан невидимым облаком, сберегавшим его. Если бы чуткие, пугливые зрачки Премьера, или змеиные, упрятанные в костяной череп стекляшки Администратора, или беспокойные, подозрительно и остро взирающие глазки Зарецкого, или волоокий мутноватый взгляд Дочери, или умный, пронзительный взор Художника разгадали его, ему грозила бы немедленная гибель. Прямо здесь, за столом, множество клыков и когтей, раздвоенных жал и пупырчатых щупальцев растерзали и удушили бы его. Белосельцев восхищался его выдержкой и спокойствием.

Он перестал на него смотреть, чтобы своим пристальным вниманием не раскрыть его. И снова исподволь взглядывал, стараясь постигнуть суть человека, которому уже начал служить, принес присягу на верность и, если потребуется, за которого добровольно погибнет.

Избранник сидел прямо, в свободной позе, положив на край стола небольшие красивые руки. Белосельцеву чудилось едва заметное свечение вокруг его головы и рук. У переносицы, между светлых бровей, тоже ощущалось легкое трепетание света. Застолье продолжало шуметь, возмущаться, бурно бранить Прокурора и Мэра, усматривая в них угрозу своему благополучию и власти. Оно не ведало, что к ним за стол тихо под села их смерть.

Эту их смерть Белосельцев должен был охранять и беречь, как свою жизнь, а также жизнь тех, кто еще не успел умереть. Опустив глаза, он молился о сохранении и сбережении Избранника.

– Он знает о нашем плане? – тихо спросил он у Гречишникова. – Посвящен в Проект Суахили?

– А разве обязательно знать?

Плут заволновался, заерзал. Глаза его стали бегать.

– Слушай, забыл свой мобильник в прихожей, – обратился он к сидящему рядом Избраннику, – сходи, принеси.

Тот послушно встал. Вышел из зала. Снова вернулся, неся телефон. Любезно, с легким поклоном протянул хозяйственнику. Плут, не поблагодарив, вылез из застолья. В дальнем углу зала, под имперским трехцветным знаменем, стал набирать светящиеся кнопки. Он не ведал того, что принял телефон из рук своей собственной смерти.

– Изумляюсь тебе, умной, отважной, дальновидной! – Зарецкий накрыл своей желтоватой рукой пухлую розовую ладонь именинницы. Он был возбужден выпитым шампанским, едкой, возникшей за столом атмосферой, пропитанной муравьиным спиртом, кислым укусом, капельками пота, которые выделяли испуганные поры рассерженных людей. –

Ты боишься народа? Боишься народного гнева? Русского бунта, бессмысленного и беспощадного? Боишься, что твоим пеплом зарядят Царь-пушку и пальнут через Кремлевскую стену? Что тебя задушат шелковым шарфом в коридорах Теремного дворца? Рванут бомбой твой «Мерседес» на Успенском шоссе? Что в Ипатьевский дом придут суровые стрелки и застрелят тебя, твою сестру, твоего отца и мать, весь ваш августейший род? Ты всего этого боишься? – Он смеялся, открыв желтоватые резцы. Его кожа на лице, на лысой голове, на волосатой руке стремительно желтела, наливалась таинственным пигментом, словно он был хамелеон и менял окраску в соответствии с переживаниями и эмоциями. Желтый гепатитный цвет соответствовал сарказму и иронии. – Ты хочешь сказать, что сегодня русский народ способен, подобно сербам, устроить этнические чистки и у русских есть свой поэт кровавого восстания Караджич? Полагаешь, что русские, подобно палестинцам, с камнями и бутылками способны пойти на танки и начать священную интифаду и у них есть свой вождь-федаин Арафат? Не бойся, здесь этого нет и не будет! Солнце русской поэзии, русской литературы, русской революции погасло, и мы живем под призрачным светом мертвой русской луны! – Его лицо стало мертветь, голубеть, по невидимым сосудам и жилам побежали фиолетовые соки, проступили на щеках склеротической сеткой, полированные, ухоженные ногти на руке, прижимавшие к столу ладонь именинницы, посинели, как у утопленника. – Русский народ мертв, он больше не народ, а быстро убывающая сумма особей, за популяцией которых мы пристально наблюдаем, регулируя ее численность исходя из потребности рабочей силы и затрат на ее содержание!

Эта мысль, произнесенная среди штандартов императорской славы, гербов и геральдики великих эпох, вызвала в нем прилив жара, и он стал краснеть, багроветь, как лакмус, опущенный в кислотный раствор. И возникла мысль, что это вовсе не человек, а таинственный гриб, или водоросль, или лишайник, меняющий свой цвет под воздействием растворов и соков.

– Мы вырвали у русского народа его волю, язык, глаза, отсекали семенники, наложили на него большую ременную шлею, и теперь это народ-мерин, больше не способный скакать, а может только жалко волочить по мерзлой обочине свои пустые сани, принимая от нас, как милость, охапку гнилого сена!

Все слушали его затаив дыхание, следя не столько за потоком его мыслей, сколько за преобразованиями его плоти, в которой совершалась волшебная химия, возникали разноцветные растворы, двигались волны цвета, сыпались лучи дискотеки, и он был частью колдовской цветомузыки. Одна его половина была малиново-красной и быстро темнела, как фонарь в фотолаборатории, а другая становилась золотистой, словно чешуя рыбы, скользнувшей под стеклом аквариума.

– Мы отняли у русского народа его страну, он отдал нам ее без боя, и мы разломали ее на части, как плитку шоколада, и поглощаем по частям эти сладкие ломтики. Мы отобрали у русских рабочих и инженеров великолепные заводы, где они изготавливали атомные реакторы и космические корабли, заставили их производить пластмассовые бутылки для пепси-колы, и они послушно их стали штамповать на поточных линиях, где еще недавно производились лучшие в мире перехватчики. Мы отняли у русских ученых циклотроны и обсерватории, компьютерные центры и научные полигоны, и атомные физики в обноски смиренно стоят на толкучках, продают турецкие колготки и китайские плюшевые игрушки. Мы покончили с русской военной мощью, перед которой трепетала Америка, привели в негодность танковые и воздушные армии, разрушили атомный флот, взорвали ракетные шахты. Мы уничтожили военную науку и Генштаб, перессорили генералов, а остатки бессильных контингентов кинули в Чечню, под гранатометы Басаева, набив морги неопознанными телами солдат. Мы остановили, развернули вспять, сбросили в овраг, завалили отбросами, залили бетоном русскую культуру, устроив на этом месте дансинг с бесплатной марихуаной, и исколотые

девочки под музыку Купера танцуют, не ведая, что под ними, глубоко зарытые, истлевают иконы Рублева, книги Толстого, скульптуры Цаплина.

Зарецкий вдруг стал терять очертания, лишился формы и цвета, он растекался, словно студень, колебался, как огромная плавающая медуза. В его прозрачной синеватой глубине, среди слизи и влажных пленок, едва заметно темнела туманная сердцевина, таинственная скважина, соединявшая эту реальность с другой, запредельной, из которой вытек загадочный водянистый пузырь, чтобы снова в нее утечь и всосаться.

Белосельцеву казалось, что дурной Мейерхольд продолжает абсурдистский спектакль. Актер, загримированный под Зарецкого, с характерным носом и мимикой, играет роль русофоба, собрав воедино все подпольные русские страхи, все угрюмые толкования о заговорах, все болезненные знания и домыслы, напечатанные неразборчивым шрифтом в бессчетных брошюрах и книжках, в мелких листках и газетках. Актер в красном, как стручок перца, трико, в клетчатой кофте футуриста, с колпаком скомороха пританцовывал в высоте на канате, протянутом от лепного Архангела к сусальному орлу, под хрустальной сверкающей люстрой. И все, кто сидел за столом, запрокинули головы, смотрели на акробата, слушали его слова, несущиеся из-под гулких сводов.

– Если захотим, мы сгоним их с территории к железной трубе, проложенной из-за Урала в Европу, по которой текут русские нефть и газ. И они будут жаться к этой трубе, как крысы, замерзающие на морозе, и из них уцелеют лишь те, кто сумел прислониться к нефтяной магистрали. Если они станут вдруг размножаться, мы прикажем их женщинам перестать рожать, предложим мужчинам безболезненную стерилизацию. Если это не поможет, мы столкнем их в гражданской войне, и пусть они убивают друг друга, пусть русские режут татар, татары стреляют в башкир, а якуты под бубны шаманов станут курить первобытную трубку мира, в то время как мы займемся их кимберлитовой трубкой. Зараженных СПИДом, туберкулезом и сифилисом, пьяниц и наркоманов мы отправим за Полярный круг, где они тихо уснут от переохлаждения, на радость песцам и росомахам. А у здоровых мы станем брать кровь и органы и продавать в медицинские центры Израиля, утоляя ностальгические чувства евреев – выходцев из России, чтобы у них не прерывалась связь с их второй Родиной.

Канатоходец в красном трико танцевал в вышине под сводами кремлевского зала, канат дрожал и пульсировал под напряженной стопой. Белосельцев подымал ввысь двустволку, выцеливал крючконосое под колпаком лицо, сажал на вороненные стволы, бил двумя выстрелами. Огромный тетерев падал, трепыхая крыльями, разбивался о паркет, и оставался лежать среди перьев, и из его клюва вместе с каплями крови выкатывались гроздьи брусники.

Зарецкий налил себе полный бокал шампанского и выпил залпом, погрузив иссохшие от страсти губы в шипящую пену и хрустальные радуги. Он помолодел на глазах, на его лысеющем желтом черепе образовалась иссиня-черная волнистая шевелюра, лицо стало бледным и красивым, как у киноактера в немом кино, и на этом черно-белом жгучем лике краснел яркий сочный рот.

– Ты не должна бояться, – он крепко сжал запястье Дочери, вдавливая в плоть бриллиантовый браслет так, что она застонала, – ты находишься под нашей защитой, и тебе не страшны русские ряженные мужики из кинофильмов о Пугачеве и Ермаке, снятых на наши деньги для показа туземным зрителям. Мы сделали твоего отца Президентом, когда это было несложно, и русский народ слюнявил один на всех карамельный леденец под названием «демократические ценности». Но мы сделали его Президентом и тогда, когда это было почти невозможно, народ его ненавидел, а он сам умирал от гниения сердца. Я держал его холодное запястье без пульса, с малиновыми трупными пятнами, когда приборы кардиологического центра показывали клиническую смерть. Я послал самолет в Америку за еврейским стариком Дебейки, и пока он летел над Атлантикой, я поехал в банк донорских органов, где держали на искусственном кровообращении вологодского солдатику с простреленным черепом

и с отличным, здоровым сердцем русского патриота. Я наблюдал за тем, как извлекают из грудной клетки сердце, как кладут его в хромированный сосуд с жидким азотом, а затем сам вез по Москве этот драгоценный сосуд русской государственности, торопясь доставить в клинику к прилету Дебейки. Этот великий кудесник, похожий на сморщенную обезьянку, пересаживал твоему мертвому отцу сердце юноши, и я видел, как оно погружается в пустую, похожую на синий сундук грудь твоего отца и на осциллографе возникает первый всплеск воскресшего Президента. Теперь, когда ты видишь, как у твоего отца проваливаются глаза и изо рта начинает пахнуть могилой, объясняй это тем, что он побывал на том свете. А когда он начинает буйно танцевать под «Калинку-малинку» или «Вдоль по Питерской», знай – это танцует в нем сердце юноши, которое не дотанцевало в другом, молодом теле.

Дочь, которую Зарецкий по-прежнему держал за запястье, оцепенела, глаза ее остановились и остекленели, из полуоткрытого рта едва доносилось дыхание. Она была под гипнозом, в полной власти красавца-чародея, надевшего на нее бриллиантовый наручник, приковавшего ее навеки к себе.

– Не бойся, милая, кроткого богоносного русского народа, за который день и ночь молится его Патриарх. Русский народ в душе монархист, пусть меня поправит наш великий живописец. – Зарецкий поклонился через стол Художнику, который фломастером Корбюзье делал эскиз на салфетке. – Под колокольные звоны и вынос чудотворных икон мы провозгласим твоего отца царем Борисом Вторым, а потом, при стечении духовенства, воинства и купечества, наш утомленный правлением царь, посасывая нарядную пустышку, сделанную из натурального соска певицы Мадонны, отречется от престола в пользу любимой дочери. В твою пользу, моя дорогая...

Белосельцев понимал, что это фарс, талантливая изуверская игра великолепного актера, который играл постоянно – на бирже, на взвинченных нервах истеричной публики, на противоречиях финансовых конкурентов, в казино, за ломберным столом, на слабостях немощного Президента, на скрипке, на саксофоне, на арене нарядного цирка, куда выходили обезглавленные политики, держа в руках свои окровавленные, с выпученными глазами головы, выкатывались толпы погорельцев и беженцев, неся в руках синюшных детей, выбредали разгромленные корпуса и дивизии, выволакивая из-под огня подорванные бэтээры. Он играл и сейчас, импровизируя, пугая игрой робкую горстку людей, которые зависели от его воли и прихоти. Белосельцеву стало тошнотворно и страшно. Ему хотелось подняться, приблизиться и ударить что есть силы в лицо красавца, плюща в кровь гордый нос с актерской горбинкой, малиновые насмешливые губы, мерцающие, как черные кристаллы, глаза. Он уже стал подниматься, но успел взглянуть на Избранника. Тот сидел спокойный, потупясь, едва заметно улыбался, и по-прежнему у переносицы его, чуть различимое, ощущалось трепетание света.

– Мы устроим твою коронацию в этом зале, при великом стечении народа. Будут наши генералы, командующие армиями и округами в плюмажах, лосинах и начищенных ботфортах. По Москве-реке во всей своей гордой красе поплывет наш флот, состоящий из ста петровских ботигов и двухсот веселых сверхсовременных галер. Над Кремлем проплывут наши воздушные армии из раскрашенных бумажных драконов и крылатых китайских фонариков. Прибудут тебя поздравить представители всех политических сил. Коммунисты в шитых кафтанах, монархисты в тюбетейках, демократы в конногвардейских шлемах, еврейские женщины в русских сарафанах, славянские молодцы в ермолках. И все в один голос воскликнут: «Правь нами, царица Татьяна!» И ты, приветливая, милостивая, в бархатном синем платье, какой тебя изобразил наш великий Художник, с высокой прической, которую он выдумал тебе и только забыл нарисовать на ней алмазную корону, ты пройдешь через зал и сядешь на трон.

Зарецкий поднялся, вывел из-за стола именинницу и, легко пританцовывая, как в менуэте, подвел ее к трону, усадил под горностаевый полог, и она, околдованная, испытывая блаженство, с полубезумной улыбкой, послушно уселась, а Зарецкий, со смеющимися глазами, пал перед ней на колени:

– Да здравствует ее императорское величество, государыня императрица Татьяна Великая!

Все встали из-за стола, подняли бокалы с шампанским, чокнулись, чествуя венценосную повелительницу.

За дверями дворцового зала раздался негромкий шум, створки раскрылись, у белозолоченых косяков возникли два молодца с проводками антенн, торчащими из розовых промытых ушей. На пороге медленно, тяжело возник Президент. Быть может, он возвращался из кремлевского кабинета, где под трехцветным штандартом, среди роскоши и драгоценного блеска вяло и сонно листал государственные бумаги, ставя кое-где наугад нечеткую подпись. Или захотел взглянуть еще раз на великолепие царственных залов, которые он возвращал России, изгоняя из Кремля последние знаки большевистской эпохи, – оставалось лишь срезать с башен рубиновые звезды и отбойными молотками вырезать из кирпичной стены урны с прахом красных. Он стоял на пороге, мутно глядя на веселое пиршество, на Дочь, восседавшую на троне под горностаевым пологом, на Зарецкого, упавшего перед ней на колени. Он был одет в застегнутый плащ, ниспадавший колоколом почти до земли, скрывавший одутловатое грузное туловище, которое постоянно мерзло от замедленного движения крови, и он надевал под плащ множество теплых вещей.

Премьер в испуге уронил салфетку, и она стала медленно падать на пол вдоль его живота. Плут от неожиданности разбил бокал, и шампанское растеклось по столу. Администратор кинулся было в сторону, желая отмежеваться от фривольной компании, но застыл на месте под оловянным взглядом хозяина. Генерал вытянулся по стойке «смирно», и казалось, вот-вот пойдет строевым шагом навстречу Верховному рапортовать о боеготовности. Зарецкий встал, отряхивая колени, превращаясь из демонического киноактера в сутулого узкоплечего вырожденца с лысым черепом и глазами испуганной белки. Именинница словно проснулась, виновато покинула трон и, поправляя прическу, смущенно вернулась к столу.

Президент увидел совершаемое непотребство, скверну, занесенную в царственный зал. В нем стал подыматься гнев, но холодная кровь, вяло толкаемая больным и немощным сердцем, не разносила толчки гнева по тучному недвижному телу и вместо ярости, слепого бешенства, хриплого клекота порождала тупую боль в голове, ломоту костей, унылую тоску, от которой глаза сжимались в узкие слезные щели, брюзгливо оттопыривалась нижняя губа и на лбу прорезалась одинокая морщина страдания.

Белосельцев смотрел на того, кого ненавидел все эти годы столь сильно, что сама эта ненависть стала источником жизненных сил, поддерживала его бытие в надежде, что когда-нибудь он увидит смерть ненавистного человека. Тот, кто толчком ноги опрокинул страну, которая рассыпалась, как трухлявая колода, воитель, один одолевший могучую партию и разведку, оратор, прочитавший с танка смертный приговор коммунизму, беспощадный палач, спаливший Парламент и перебивший из пулемета тысячу безоружных людей, тиран, превративший цветущий Грозный в обугленный котлован, – этот человек стоял теперь бессильный и дряблый, и по его одутловатой щеке катилась слеза старческой немощи. Белосельцев, изумляясь, испытал к нему подобие сострадания.

– Веселитесь? – спросил Президент от порога, не ступая в зал. – Хотите меня в тираж списать?... Да вас без меня сразу повесят, так вы народу обрыдли... Скоро сам уйду, сил больше нету... Хотите жить, ищите преемника... Хорошо ищите, а не то найдете такого, кто вас живьем закопает... Еще есть у вас пара месяцев, а потом поздно будет. – Он умолк, покач-

нувшись, будто прихлынула к его голове дурная кровь и все скрылось в красном тумане. Повернулся и исчез в дверях, увлекая за собой молодцов с антеннками, торчащими из промытых ушей.

Все облегченно вздохнули. Премьер нагнулся, подбирая салфетку. Плут налил шампанское в чужой бокал и жадно выпил. Генерал громко загоготал, рассказывая анекдот. Администратор цапнул вилкой ломтик севрюги и стал мелко жевать. Белосельцев стоял рядом с Гречишниковым и Копейко, оглядывал зал, желая увидеть Избранника. Но того не было. Он незаметно исчез, неясно, в какую минуту.

К ним подошел Зарецкий, возбужденный и злой. Обратился к Копейко:

– Надо кончать с Прокурором! Можете или нет остановить Прокурора?.. Я держу службу безопасности, соизмеримую с государственной спецслужбой... Располагая средствами, которые я вам предоставил, вы можете наконец остановить Прокурора?

– Считайте, что он остановлен. Через несколько дней мы заставим его уйти в отставку. Но этого мало.

– Что еще? – Зарецкий нервно ломал желтоватые пальцы, издавая неприятные хрусты.

– Мы должны сменить директора ФСБ. Вы правильно сказали, что этот тип куплен на корню Астросом и работает против нас. Мы должны поставить там надежного человека.

– Подберите кандидатуру. Я поговорю с Татьяной. Президент подпишет указ. Но не раньше, чем вы остановите этого долбаного Прокурора.

– Считайте, что он остановлен.

Зарецкий отошел к столу, где снова ели и пили.

– Мы можем идти, – сказал Белосельцеву Гречишников, – полдела сделано.

Не прощаясь, они вышли из парадного зала.

На выходе из Боровицких ворот постовой механическим жестом отдал им честь. Они подымались по Каменному мосту от Кремля, над рекой, по которой ветер водил легким серебряным веником. Навстречу, похожие на жуков-плавунцов, скользили машины в слепом неуклонном стремлении. «Ударник», словно мучаясь тиком, дергал бледной рекламой «Рено». Дом на набережной смотрел печальными глазами расстрелянных комиссаров. Округлость моста воспринималась как кривизна земли. В утомленных опорах и балках гудела железная музыка былых поколений.

– Ты показал мне мерзость, – Белосельцев мотнул головой на Кремль, где за розовыми стенами, среди золотых куполов чьи-то желтые зубы продолжали драть мясные волокна, шматок жирной рыбы падал на драгоценный паркет, мокрые губы громко тянули шампанское. – Я должен был это видеть? Зачем?

– Видеть, чтобы ненавидеть, – засмеялся Гречишников, и его смех оставил на реке отпечаток, словно махнула крылом большая птица. – После этой встречи нам легче будет осуществить операцию «Прокурор», в которой тебе выделена ключевая роль.

Комиссары в красных петлицах и ромбах смотрели из окон большого дома. Гудела железная музыка мертвых времен. Они миновали высшую точку моста, от которой синусоида скатывалась в Замоскворечье. Над потоком глянцевиных машин возвышалось здание времен сталинизма. На крыше трепетала реклама в виде красной бабочки, созданной из стеклянных газовых трубок. Белосельцев смотрел на бабочку как на символ своей прожитой жизни, который следовал за ним на всех континентах, над полями сражений, горящими городами и селами. Старался припомнить, на каком цветке – в пойме Меконга, на топком берегу Рио-Коко или в африканской саванне – он видел эту красную бабочку.

– В чем суть операции «Прокурор»? – Белосельцев смотрел на то, как красные крылья трепещут в московском небе. Бабочка, словно тотемный бог, следовала за ним по пятам, управляла его судьбой.

– Прокурор осторожен и чуток. Он – сверхточное оружие Мэра и Астроса в их смертельной войне с Истуканом. Он ощущает себя ракетой, которую будут сбивать. Множество глаз и радаров следят за его полетом. Он не догадывается, что это мы через швейцарских юристов сбрасываем ему информацию – наименование офшорных фирм и криминальных банков, через которые кремлевские воры утягивают из России несметные состояния. Он крайне осторожен в высказываниях, нелюдим, не идет на контакты. Хочет затеять громкие дела против Истукана и его окружения в момент президентских выборов. У него две человеческие слабости. Он тайно блудлив и время от времени хватается на бегу лакомые кусочки. И коллекционирует бабочек, покупая их во время зарубежных поездок. Кичится своей великолепной коллекцией. Эти слабости его и погубят, если ими умело воспользоваться...

Белосельцев вспомнил африканский глянцеви́тый куст с розовым соцветьем, на котором сидела красная, напоминавшая алебарду нимфалида. Она раскрыла чуткие крылья, комкала хрупкими лапками пышное соцветье, погружая раскрученную спираль хоботка в сладкую сердцевину цветка. Он тянул к ней сачок, чувствуя ее трепетную легкую жизнь, желая ее сразить и поймать.

– Ты выманишь его на свидание. Он домогается встречи с тобой, мечтает посмотреть твою замечательную коллекцию. Мечтает обменять ангольских бабочек, пойманных тобой в долине Кунене, на своих, бразильских, купленных на рынке в Сан-Паулу. Ты назначишь ему свидание в квартире, которая расположена в этом доме. – Гречишников указал на сталинское строение, увенчанное стеклянным газовым ангелом. – Мы развесим по стенам твою коллекцию. Ты станешь рассказывать ему о своих боевых трофеях, добытых не автоматом Калашникова, а воздушным куском кисеи. Твоя секретарша, которая на деле будет валютной проституткой гостиницы «Метрополь», станет потчевать вас коньяком, очаровывать Прокурора. «Эликсир любви», который она нальет в рюмку, усыпит его бдительность, сделает сентиментальным и страстным...

Красная нимфалида сидела на цветке среди эфирных испарений, и он тянул к ней сачок, готовясь ударить, прочерчивая зрачком траекторию к той пустоте, где через секунду окажется прозрачная кисея, в которой, просвечивая, станет мягко шелестеть пойманное алое диво. Он тянулся сачком, умоляя незримого лесного божка, владеющего африканской опушкой, повелевающего бабочками, антилопами, птицами, чтобы он даровал ему эту добычу. Хотя знал, что промахнется и бабочка от него улетит.

– Прокурор останется наедине с валютной красавицей, и та обольстит его. На широкой, как чистое поле, кровати он возбудит не уголовное дело, а нечто иное, на что будут направлены две телекамеры, спрятанные в потолке и стене. Когда он наконец застегнется на все свои прокурорские пуговицы и покинет квартиру, мы уже будем рассматривать уникальные кадры любви, которые войдут в анналы отечественной юриспруденции. Копейко смонтирует отличную ленту под музыку из кинофильма «Мужчина и женщина». И, быть может, в тот же вечер, сразу после вечерних известий, на канале Зарецкого изумленные зрители увидят того, кто воюет с кремлевским вором. Правда, детям до шестнадцати лет смотреть такое заказано...

Он ударил сачком, сшибая пустой цветок, цепляя кисею о колючки. Знал, что промахнулся и бабочка от него улетела. Она мчалась, удаляясь в жарком тумане, как крохотная красная искра. Из кустов смеялся над ним злой африканский божок. В горе, не в силах расстаться с мечтой, он кинулся следом за бабочкой, проламывая кусты, разрывая одежду, чувствуя, как загораются на теле длинные ожоги царапин. Бежал, задыхаясь, размахивая древком сачка, пронося несчастное, горячее от пота лицо там, где только что промчался крохотный красный ангел.

– Эти кадры возмутят общественность и дадут основание отстранить Прокурора от должности. Будут заморожены все крупные уголовные дела, направленные против Исту-

кана. Мэр лишится оружия. В знак благодарности за блестящую операцию будет смещен директор ФСБ, и на его место сядет наш человек. Так завершится операция «Прокурор», один из фрагментов Проекта Суахили...

Бабочка, которую много лет назад он не догнал в африканской саванне, теперь, созданная из стекла, наполненная пылающим газом, присела на крышу московского дома, куда он должен войти. Он стоял, изумляясь таинственным совпадениям, в которых скрывалась тайна многомерного мира, куда страстно стремится душа и где она окажется лишь после избавления от плоти.

– Тебе понятна твоя роль? – спросил Гречишников. – Знаешь, как действовать?

– Я не буду действовать, – сказал Белосельцев.

– Почему?

– Гадко. Это вопреки моим этическим нормам.

– Неужели? – Оранжевые глаза, как ягоды рябины, замороженные в ледяной круг, приблизились к лицу Белосельцева. – Твоя этика запрещает тебе быть подсадной уткой, ибо ты, как мы договорились, скворец? Но разве тебе неизвестно, что в атласе разведок подсадная утка есть самая распространенная птица? Что ею в любой момент может стать пеликан, или сова, или дикий голубь витютень? Это честь для разведчика – облечься в утиное оперение и немного покрывать, подманивая глуповатого селезня.

– Мне претит заманивать в постель к проститутке подвыпившего мужчину. Не хочу быть подсадной уткой.

– А разве ты ею не был однажды – в баре отеля «Дон Карлош», куда заманили Маквиллена и где он был арестован?

Сумрачный бар отеля. Полированная красноватая стойка с отражением цветастых бутылок. Узорная телефонная трубка. Бутафорский рыцарь в углу. Из далеких дверей навстречу идет Маквиллен, светловолосый, веселый, что-то издали ему говорит, дружелюбно кивает. С обеих сторон, из потаенных углов, кидаются на него чернолицые агенты разведки, крутят руки, утаскивают. И тот, оборачиваясь через плечо, кидает на него укоризненный взгляд.

– Если ты внимательно изучал мое африканское досье, – Белосельцев хотел уклониться от близких рябиновых ягодок, замороженных в лед лица, – ты должен знать, что Маквиллен заманивал меня в ловушку. Это было под Лубанго, по дороге в Порт Алешандро, где меня пытались убить. Маквиллен враг, и в баре «Дон Карлоша» я поступил с ним как со смертельным врагом.

– Те, с кем мы боремся, – враги человеческого рода. К ним неприложима этика. Их истребление – богоугодное дело. Их пребывание в Кремле стоит Родине каждый год миллиона жизней. Нет такой цены, которую не заплатил бы народ, чтобы их уничтожить. Их истребление требует не выстрела, не взрыва, не победы на выборах, а сложнейшей интеллектуальной игры, а также молитвы старцев, которые своими помыслами блокируют их демонические силы. От тебя мы требуем ничтожных усилий, а результат последует огромный. Тебе нельзя отказаться...

Они стояли у подножья моста, на котором толпились глянцевиные жуки-плавунцы. Ветер прикладывал к реке серебристые пышные папоротники. Трепетала на кровле огромная стеклянная бабочка. Это был генерал Авдеев, продевший руки под стеклянные трубки, готовый вспорхнуть в небеса.

– Ты согласен? – спросил Гречишников.

– Да, – сказал Белосельцев. – Кто станет директором ФСБ?

– Им станет Избранник.

...Они приблизились к дому с бабочкой, обогнули его со двора. Под деревьями стояли машины, напоминавшие коллекцию разноцветных жуков. В одной из них, с затемненными стеклами, мог скрываться приемник, снимающий сигнал с телекамеры. Пока Гречишников заостренным пальцем постукивал по кнопкам кодового замка, Белосельцев высматривал, не топорщатся ли над капотом машины усики приемных антенн, не мелькнет ли за темными стеклами красный уголек сигареты. Мягкий лифт вознес их на верхний этаж. Они остановились перед серой замшевой дверью, на которой был выбит затейливый готический номер. Гречишников, орудуя ключом, открыл замок заветной квартиры.

На них пахло теплом и уютом, словно квартира была обитаема и где-то рядом, среди просторных комнат, вольных гардин, находился хозяин, любитель вкусного табака, дорогого одеколona, душистого мыла, а также старинных фолиантов, источавших сандаловые запахи древнего клея.

– Твой дом, – широким жестом радушного домовладельца Гречишников пригласил Белосельцева. – Здесь все отвечает твоим привычкам и вкусам.

Белосельцев удивился сходству этого сфабрикованного жилища с его собственным домом, словно кто-то изучал его быт и привычки, бывал многократно в его кабинете, гостиной, делал опись его безделушек и книг. Черные африканские маски Анголы и Мозамбика. Эфиопские цветные лубки, тисненные на пергаменте. Глиняные божки мексиканских пирамид и надгробий. Звонкая бронза Востока с фигурками летающих дев. Гератское стекло, похожее на голубые сосульки. Пуштунские ожерелья и бусы среди черно-красных кандагарских ковров. Это был дом путешественника, собравшего за долгую жизнь фетиши своих странствий, амулеты своих походов, талисманы своих сражений и войн.

– Вот бар, где любимые Прокурором виски, коньяки и марочные французские вина... Вот холодильник, где уже готовы кубики льда... Вот полка с кофейным сервизом и вкуснейшим бразильским кофе... Рюмки, бокалы, пепельницы для дорогих сигарет...

Гречишников ввел Белосельцева в кабинет, где стоял старинный письменный стол с гранитной чернильницей и стеклянными пустыми кубами, небрежно лежали бумаги и книги и, белый, словно вырезанный из снега, мерцал компьютер. На книжных полках пестрели лаковые паспарту и старинные кожаные корешки научных журналов, географических атласов, этнографических справочников и живописных альбомов. На журнальном столике лежал забытый энтомологический атлас с многоцветьем африканских нимфалид и альбом буддийских храмов, где черно-белые, словно из метеоритного камня, барельефы Ангкора воспроизводили сладострастные позы восточной любви.

– Здесь все говорит об уединенных трудах старого воина, который пишет одиссею своих походов, житие своих подвигов... Труд, который ты затеял и в котором тебе помогает молодая прелестная помощница, любя твои седины и раны, этот труд называется «Житие генерала Белосельцева». – Гречишников мягко усмехнулся, словно нехотя расставался с мечтой написать свою собственную книгу жизни, отдавал эту мечту Белосельцеву. – А это твоя опочивальня, место, где Прокурор сразится с обольстительным демоном и падет в неравной борьбе...

Они вошли в спальню, пустую и белоснежную, с полупрозрачными розовыми занавесками, где стояла просторная кровать, устланная полосатым восточным покрывалом, с длинными мутаками, обшитыми цветастым шелком.

– Стены, как видишь, пустые. На них мы развесим твою коллекцию, и битва Прокурора и демона будет проходить на этой арене, окруженной тысячами молчаливых крылатых ангелов, желающих поражения демону. – Гречишников радостно засмеялся, довольный своим сравнением. Он приподнял палец, к потолку, где висела красивая люстра из тонких бронзовых лент. Затем перевел палец к окну, к узорному карнизу, на котором висел прозрачный

занавес. – Там телекамеры, установленные великим Антониони... Черно-белый и цветной варианты...

Белосельцев стал осматривать стерильно-чистые стены, где через несколько дней засверкает его коллекция. Просторную, без единой складки, кровать, на которую, среди восточных мутак и полосатых покровов, возляжет наивный, опьяненный любовник. Комната была операционной, куда приведут пациента, уложат под хирургическую сверкающую лампу, вольют обезболивающие растворы, наденут на лицо маску веселящего газа. И тому померещится, что он молод и свеж, его ласкает и нежит прелестная апсара, над ним летают восхитительные любимые бабочки. И в это время, под зрачком телекамеры, опытный хирург проведет операцию.

Из него извлекут крохотный красный лоскут мозга, кинут пинцетом в эмалированный, забрызганный кровью сосуд. Вставят маленькую золотую пластину, которая утонет среди пульсирующих сосудов, мягких слизистых тканей, прозрачных, как жир, студенистых складок. Он очнется с маленькой ранкой на темени, забыв, где он был, что с ним сделали. Побредет, как в дурмане, лишенный воли и разума, испытывая необъяснимые приступы страдания и ужаса. Будто кто-то невидимый вонзает ему в мозг тончайшее жало, впрыскивает капельки яда. Управляемый этим страданием, ведомый неизъяснимым исчезающим страхом, он будет двигаться в непонимании жестокого мира, куда его поместили, в котором, словно в бреду, возникают пугающие видения бабочек, розовая колеблемая занавеска, прелестная женщина, наклонившая над ним розовую нежную грудь.

В прихожей раздался звонок, напоминающий нежные переливы клавесина.

– А вот и героиня романа. Та, которой ты диктуешь свои военные саги. – Гречишников заторопился в прихожую открыть дверь.

Вошла молодая женщина, прелестная и приветливая, изначально, от порога, излучающая красоту, очарование, рассчитанные на немедленное приятие и влечение. Все исходило в ней свежесть и женственность: светлые, расчесанные на прямой пробор волосы, золотистые, с изумлением приподнятые брови, блестящие смеющиеся глаза, свежий, с милой усмешкой рот, нежный приподнятый подбородок. Она была похожа на дворянскую барышню, поступившую на Бестужевские курсы, какой желает видеть ее нынешнее, измученное сознание. Таково было первое от нее впечатление, взволновавшее Белосельцева. Но вторым, зорким и опытным взглядом он различил едва уловимую ненатуральность этого милого и простодушного образа. Весь этот облик был создан, сконструирован, надет на нее и плотно подогнан, скрывая под собой иную, незримую сущность, о которой не следовало знать и заботиться повстречавшемуся ей человеку. Ее красота и свежесть казались целлулоидными, кукольными. Блеск и свечение – целлофановыми и пластмассовыми, как у дорогого, вечно улыбающегося манекена, на который в озаренной промытой витрине надевают ювелирные украшения, дорогое белье, модные туалеты, в надежде на богатого покупателя, способного заплатить за качественный товар.

Ее наряд – жакет, блузка, короткая юбка, туфли – был вычерчен на тончайших лекалах, повторявших очертания тела, был измерен и вычислен до микрона, сочетая приоткрытую выпуклость груди с нежной белизной шеи, выступающие овалы коленей с гибкими, чуткими щиколотками. Каждая пуговка, крючочек и запонка, металлические и пластмассовые молнии были удобны и оправданны, как на чехле механизма, позволяя быстро и ловко освободить дорогой механизм от защищавшей его оболочки.

Ее маленькая кожаная сумочка с кармашками и застежками, чуть потерянная от употребления, напоминала саквояж мастера с набором рабочих инструментов, где каждый имел свою ячейку, был под рукой, быстро и точно использовался. В этой плотно застегнутой сумочке, в каждом отдельном кармашке таились средства обольщения, гигиены, книжица с

адресами клиентов, ключи от машины, а в кожаном узком отсеке – длинные мутно-зеленые купюры, полученные за выполненную работу.

Белосельцев смотрел на молодую прелестную женщину, стремящуюся очаровать его, расположить к себе веселыми круглыми глазами, милой улыбкой, струйкой золота на белой дышащей шее, и знал, что созерцает прекрасно выполненную, безупречную в исполнении «машину любви», способную утолить самый изысканный вкус, ответить на любой каприз, доставить наслаждение самому изощренному и искушенному знатоку. Так новая модель автомобиля, построенная по последнему слову техники, вызывает восхищение у опытного гонщика, когда он становится владельцем ее восхитительной пластики, упругой силы, кожного салона, вкусных ароматов, комфортного дизайна, где каждый перелив света, каждый нежный изгиб и звук вызывают наслаждение, переходящее в головокружительную страсть, в слепой порыв, в перламутровый блеск размытого скоростью мира, в котором мчится потерявший рассудок ездок, погибая в смертельной вспышке и смерти.

– Здравствуй, Вероника, здравствуй, красавица! – по-отечески ласково приветствовал ее Гречишников. – А это Виктор Андреевич, которому ты помогаешь писать мемуары... Виктор Андреевич, это Вероника, твоя секретарша, которой ты надиктовываешь одиссею своей многотрудной жизни... Как говорится, любите друг друга и жалуйте.

Довольный, доброжелательный, он поглядывал на обоих. И Белосельцеву почудилось, что взгляд у него острый, холодный, точный, как у механика, осматривающего сложные, дорогостоящие механизмы, перед тем как пустить их в дело. В его глазах Белосельцев тоже был машиной, которую после долгого стояния вывели из ангара и теперь пробовали в работе, тайно сомневаясь, провернутся ли застоялые валы и колеса, схватит ли горючую смесь холодный двигатель, превратит ли в жаркий взрыв, в нарастающее вращение вала.

– Очень приятно, – произнесла женщина. Голос ее был звучный, сочный, но и в нем Белосельцеву почудились искусственные, неживые интонации, как в электронной музыке, когда знакомый милый мотив, пропущенный через синтезатор, обретает холодное металлическое звучание. – Я знаю, вы много путешествовали по Африке. Бывали в Анголе и Мозамбике. Какой эпизод ваших путешествий вы будете мне надиктовывать?

– Не знаю, – смутился Белосельцев, улавливая исходящий от женщины тончайший аромат духов, вдруг сравнивая его с неуловимыми запахами эфиров, которые бабочка, черно-зеленый светящийся махаон, оставляет в воздухе, прочерчивая среди ветра, солнца, древесной листвы и душных испарений болот невидимую трассу, по которой летят опьяненные, одурманенные самцы в поисках пролетевшей черно-зеленой самки, и он, стоя на берегу океана, подняв высоко сачок, захватывает в него вместе с синими солеными брызгами и белыми песчинками кварца пышного страстного махаона, похожего на сорванный ветром цветок. – Не знаю, – повторил он, – может быть, эпизод в ночной Луанде, на берегу лагуны, в отеле «Панорама», где собрался весь «бомонд» ангольского общества...

– И конечно, вы танцевали с черной красивой женщиной... – Она произнесла это приветливо, без всякой заинтересованности, все с той же целлулоидной улыбкой, за которую было заплачено, но эти случайно, наугад оброненные слова вдруг взволновали его.

Бархатная африканская ночь. Черная лагуна с золотыми веретенами отраженных огней, там, где днем взлетали в воздух тяжелые литые тунцы, держались миг, переливаясь на солнце, и рушились с плеском в воду. Сиплый рокочущий саксофон, похожий на изогнутое морское животное, которое целуют мягкие замшевые губы. Он обнимает за талию Марию, чувствуя пальцами гибкие позвонки на ее обнаженной спине, прижимает к себе ее длинные груди, видя за ее обнаженным затылком, как кружится белая балюстрада, проплывают черный фрак дипломата, пятнистый мундир военного, и кажется, что веранда медленно отрывается от земли, возносится над туманной водой к звездам.

– Я бы хотела услышать историю вашей жизни, – серьезно сказала она, – хотела бы узнать о вашем путешествии в Африку.

Переживание, его посетившее, было болезненным и острым. Этой сочной болью и сладостью он был обязан милой, равнодушной к нему женщине, которая с любопытством рассматривала атлас африканских бабочек и черно-каменные барельефы Ангкора.

– Вы хотите сделать Прокурору подарок? – спросила она. – Хотите подарить ему бабочку?

– Ты и есть та бабочка, которую мы подарим Прокурору, – засмеялся Гречишников. – Этот подарок он будет помнить всю жизнь.

Он увел Веронику в гостиную, хлопнул дверцей бара, показывая бутылки с напитками, хрустальные рюмки, блюдо для кубиков льда. Он что-то негромко втолковывал ей, и она, как прилежная ученица, переспрашивала. Белосельцев боялся спугнуть безумную, невозможную мысль. Он останется в этой красивой уютной квартире с молодой милой женщиной, которая будет выслушивать длинную повесть его прожитой жизни. Он станет наматывать пряжу своих нескончаемых повествований на ее белые терпеливые руки, которые она возденет перед его лицом. Виток за витком, он уложит на ее руки все разноцветные нити своих странствий, из которых она соткет для него поминальный убор.

Мысль была сентиментальной, из тех, что могла родиться в голове престарелого разведчика при виде молодой проститутки.

– Мне все понятно, – сказала Вероника, казалось источая радостный лакированный блеск. – Рада была познакомиться. Теперь мне надо идти. Меня ждут в «Метрополе». А я еще хочу зайти в парикмахерскую.

Она улыбнулась, качнула сумочкой и вышла, оставив в воздухе легкий аромат духов, по которому ее можно будет найти, следуя через Каменный мост, мимо Кремля и Манежа, угрюмого здания Думы, колоннады Большого театра к «Метрополю», с его фиолетовыми изразцами, туманными фонтанами, стеклянными плафонами, где в вечернем баре ее жадно отыщут глаза богатого арабского шейха.

– Ну что, Виктор Андреевич, пойдем и мы полегоньку. Место тебе известно. Время, когда потребуется твоя коллекция, тебе сообщат. Будем снимать кино. – Он засмеялся воркующим смехом лесного витютня и ушел.

Глава шестая

Белосельцев покинул дом с красной стеклянной бабочкой и двинулся пешком по Полянке, стараясь припомнить, как еще недавно называлась эта улица, по которой столько раз он проезжал от «Ударника» к Садовой. Но в памяти вместо названия улицы был неровный рубец, где вырезали у него кусочек мозга и наспех зашили нейлоновыми нитками, смазав обезболивающей перламутровой слизью. Однако другая улица, шелестящим драгоценным потоком катившаяся в стороне среди богатых магазинов, помпезных отелей, посольских палат и храмов, называлась Якиманкой, и он не забыл ее прежнее название – Георгия Димитрова. В этом исчезнувшем имени, как в круглой металлической коробке с документальной лентой, таился горящий рейхстаг, факельные шествия, открытый «Опель» с торжествующим Гитлером, жестокие легированные зубы, сжимавшие хрупкое горло Европы, на котором похрустывали позвонки и сухожилия. Москва захватила часть всемирной истории в качестве военного трофея, перенесла в свой пантеон, замуровала в стены своих домов, в названия площадей и улиц. Теперь же безвестный Якимка в колпаке скомороха снова выскочил из глухого сундука, где пролежал полвека среди шариков нафталина, истлевших кафтанов и бабьих салопов. Соскоблил имена красных героев и мучеников, скакал по крышам и проводам, корчил смешные рожи водителям «Мерседесов» и «Вольво».

Белосельцев шел утомленно, перебирая впечатления огромного, еще не завершеного дня, словно переворачивал фанерные листы, на которых были намалеваны яркие невысохшие картины художника-плакатиста. Человек, к которому он приближался, смотрел на него тихими ясными глазами стареющего москвича, и этот взгляд был знаком Белосельцеву, словно он видел этого человека вчера. Или встречал его многократно всю свою прежнюю жизнь в московских трамваях, на лавочках московских дворов, в московских магазинах и булочных.

– Куда идем, знаем, а куда придем – не знаем, – сказал человек, когда Белосельцев с ним поравнялся.

– Что вы сказали? – переспросил Белосельцев.

– «На полянке встали танки», такая песня поется. Пойдем, посажу тебя в самолет. «Мы, друзья, перелетные птицы». Такая поется песня.

Белосельцев вдруг узнал человека. Блаженный прорицатель, яблочный пророк, подаривший ему в церкви золотистый благоухающий плод, стоял перед ним все в том же потертом пиджачке, запорошенный мягкой пылью дорог. Лицо его было блеклым, как иссохшая на грядках ботва, но глаза, сияющие, серые, словно летнее тихое небо с сеющим теплым дождем, смотрели наивно и ласково.

– Змей сквозь метро в Кремль прополз? – спросил Белосельцев без насмешки, а лишь для того, чтобы напомнить о себе прорицателю.

– Змей, у которого голова с пятном, а сердце в ямах. Числится двумя, а значит одним. Есть число Змея, а есть имя Змея. Имя Змея – Яким, – прорицатель указал на соседнюю улицу с драгоценными витринами и дорогими палатами, вдоль которых катилось, волновалось, сжималось чешуйчатое тулово, проталкивая в глубину города сгустки льдистой металлической плоти, скользило мимо храмов, отелей и банков.

Эта встреча в солнечной предвечерней Москве была очередным совпадением. Из числа случавшихся в последние дни. Она подтверждала незыблемый закон совпадений. Казалось, сероглазый человек стерег его здесь, на перекрестке московских улиц. Стерег день назад в церкви среди душистых яблок. Стерег от сотворения мира, чтобы невнятными словами поведать о Змее, – будто он, Белосельцев, единственный, кто мог понять и услышать. Его

звали Николаем Николаевичем. Руки его были черные от машинного масла и слесарного инструмента. Яблоко, которое съел Белосельцев, было рассыпчатым, сладким.

– В Москве одному царству конец, а другое настать не может. Змей не пускает, лежит поперек Москвы. Кто Змея убьет, тот и царь. Ты убьешь – ты царь, я убью – я царь. В ком больше слез, тот и убьет. Владыка Иоанн плакал три года, а вышел пожар Москвы. Змей танки прислал, и Пашка Мерседес в народ из танков стрелял. Царевичей всех убил, а царевны остались. Змей каждый день одну царевну под землю уводит. Под землей, в метро, есть мертвое поле, имя «Метрополь». Там русские царевны закопаны. Красавицы. Дальше сам понимай... – Он повернулся и пошел, не оглядываясь, зная, что Белосельцев следует за ним.

Тот следовал. Увлеченный путаницей слов, их вязким невнятным смыслом, он шагал за прорицателем, чувствуя, как в помутненном рассудке блаженного открыта таинственная малая скважина, из которой в мир сочится загадочный родничок, выплескивая через косноязычную речь блаженного неизречаемые истины. Будто рядом с пророком, не касаясь земли, огибая углы домов и железные водостоки, прозрачный для встречных прохожих, летит ангел. Он нашептывает пророку на ухо, а тот, как старательный переводчик, мучаясь недостатком слов, переводит на человеческий язык вещие истины. Белосельцев шел за Николаем Николаевичем, не понимая его бормотаний, наслаждаясь этим мучительным непониманием.

В переулочке, близко от Полянки, они остановились около автомобиля, похожего на те, что вращаются на каруселях вместе с разноцветными конями, нарядными самолетами, цветастыми ракетами, наполненными веселыми визжащими детьми. Машина была маленькая, какой-то забытой советской марки, многократно перекрашенная, в наклейках, нашлепках, в переводных картинках. За стеклом красовался портрет генералиссимуса Сталина, была укреплена икона Богородицы, был собран целый иконостас открыток, где соседствовали православные святые, советские вожди и герои. Вдоль машины была прочерчена сочная красная линия, а на багажнике была выведена красная звезда, что придавало автомобилю сходство с довоенными тупоносими «ястребками», бесстрашно погибавшими от стальных «мессершмиттов».

– Садись на место второго пилота. – Николай Николаевич открыл перед Белосельцевым маленькую дверцу, запуская его в тесный салон, и тот, удивляясь себе, послушно сел, оказавшись внутри экипажа, похожего на железную божью коровку. И первое, что странно его поразило, был мимолетно налетевший аромат духов. Словно женщина, с которой он только что виделся на заповедной квартире, заглянула сюда. Оставила в воздухе улицы, среди испарений бензина, дыма сигарет, запаха ресторанных кухонь свое терпкое ароматическое вещество, как пролетевшая бабочка.

Они покатали на этой расцвеченной будто заводной игрушке, стесненные хромированными осками джипов, сдавленные раскормленными боками «Мерседесов», обгоняемые узкими рыбьими телами «Ниссанов». Когда мимо них заструился нескончаемый, скользкий, как угорь, «Линкольн», Николай Николаевич заметил:

– На ней мертвецов хорошо возить, а живые ко мне садятся. – И посмотрел на Белосельцева тихими, одобряющими его выбор глазами.

Их затянуло в водовороты и шумные промоины Садового кольца, где их автомобиль казался скомканной пестрой бумажкой, несущейся по бурным волнам. Таганка напоминала рулет, в который замешивались дома, колокольни, мигающие светофоры, стальное месиво машин, сочное варево толпы.

Белосельцев не спрашивал, куда они едут. С тех пор, как несколько дней назад кончилась его сонная неподвижная жизнь и в нее стали вторгаться деятельные, энергичные люди, которые стали ее наполнять яркими эпизодами и зрелищами, с тех самых пор множество случайных совпадений говорило ему, что в невидимой мастерской по невидимым чертежам

осуществляется огромный и таинственный замысел, в котором задействован и он, Белосельцев. Он перестал сопротивляться напору явлений, принимал их как неизбежную данность, где смысл и значение имеет любая частность, пускай до поры до времени непонятная. Как и этот странный пилот, направлявший свой бутафорский истребитель к туманным московским окраинам.

Несколько раз Николай Николаевич останавливал свой «лимузин», и они выходили. В первый раз это случилось, когда пророк зашел в продуктовый магазин и среди нарядных витрин, пластмассовых бутылок с цветными ядовитыми напитками закупил большое количество конфет в разнообразных обертках, указывая черным масляным пальцем на горки помадок, соевых батончиков, шоколадок, искусственных трюфелей, чьи фантики были нарядные, словно елочные игрушки. Весь этот блестящий конфетный ворох он ссыпал в холщовую сумку, дал ее поддержать Белосельцеву и долго, старательно мусолил деньги, расплачиваясь изношенными, истертыми купюрами.

В другой раз они остановились у аптеки под зеленым крестом. Выстояли небольшую печальную очередь, поглядывающую на флакончики и пузырьки, где содержались заморские эликсиры долголетия, выжимки из желез экзотических животных, настои на целебных растениях, одни из которых должны были утолить ноющие и щемящие боли, а другие – ноющую и щемящую тоску умирающей плоти. Николай Николаевич сунул рецепт в стеклянное оконце, за которым сидела библейского вида жрица в белом колпаке, из-под которого взирали черные прекрасные глаза, в свое время столь полюбившиеся Олоферну. Жрица поставила на прилавок коричневый флакон с таинственной жидкостью, и Николай Николаевич молча и старательно выложил ей мятые деньги, извлекая их поочередно из нескольких карманов.

Третья остановка была сделана у рынка, накрытого, словно цирк, бетонным куполом. Николай Николаевич пошел по рядам, а Белосельцев остановился среди пьяных и сладких ароматов, радостного и возбуждающего многоцветья, гулкого и сочного многоголосья. Горы яблок, аккуратно возведенные пирамиды груш, прозрачные, источающие сиреневый свет виноградные гроздья. Мятый оранжевый урюк, коричневый изюм, смуглые грецкие орехи. Рассеченные на длинные доли, напоминающие египетские ладьи, желтые дыни. Алые, как хохочущий рот негра, влажные половинки арбузов, наполненные блестящими черными семенами. Все благоухало, отекало соком, манило и возбуждало. И повсюду за прилавками стояли крепкие черноусые азербайджанцы, плохо выбритые, с синей щетиной, дружные, наливающие из чайника горячий черный напиток, подносящие к усам отточенный ножичек с ломтиком красного арбуза. Они же, предприимчивые дети Кавказа, деловитые и уверенные, стояли у рыбных прилавков, на которых лежали золотистые остроносые осетры с колючими загривками и перламутровыми пластинчатыми жабрами, похожие на драконов. Серебряные льдистые семги с зубастыми хищными клювами излучали голубой свет зимнего утра. Горы зеленых креветок, пересыпанных крошками льда, представляли в Москве бесчисленных обитателей тепловодных глубин. Панцирные пупырчатые крабы, разложенные на холсте, раскрывали для дружеских объятий клешни. Черноусые торговцы, произнося ласковые слова на неведомом языке, зазывали покупателей. Они приподнимали тяжелую семгу за влажный хвост, и рыбина, как зеркало, кидала в глаза восхищенной московской даме отблеск студеного моря.

Белосельцев двигался между прилавков, разглядывая кавказские лица с синей щетиной, мелькавшие среди цветочных рядов. Смеющиеся среди темно-малиновых роз и белоснежных лилий. Он наблюдал за тем, как ловкие пальцы с серебряным перстнем сжимают мокрый ножик, отделяют пленки от бараньих ляжек, отслаивают жир от круглых бараньих семенников. Ставят поудобней отсеченную баранью голову с круглыми рогами и высунутым, прикушенным языком. Он испытывал к азербайджанцам неприязненное чувство пору-

ганного шовинизма. Разрушив «империю зла», обглодав до костей Россию, нарыдавшись властью над жертвами «русских оккупантов» в Баку, пылкое племя Кавказа не отпускает Россию. Передравшись с армянами за Карабах, растерзав русские погранзаставы и гарнизоны, передав бакинскую нефть американским компаниям, торговцы Гянджи и Шуши вторглись в Москву сплоченной миллионной ордой. Захватили рынки, оттеснили с прилавков русских старушек с их грибками и клюквой. Яростно, жадно торгуют, скупают дома и квартиры, земли и фермы, картины и драгоценности. Держат рестораны и казино, захватывают власть в префектурах. Отмытые и выбритые после рынков, в дорогих костюмах и галстуках сидят в застольях, весело высматривая русских красавиц, демонстрируя среди русских печалей кавказское жизнелюбие и достаток.

Работая на Кавказе в последние месяцы своего пребывания в разведке, Белосельцев помнил, как в районе Гянджи был пойман русский майор, как был забит до полусмерти, вложен в старый баллон от «КамАЗа», и когда подоспел на бэтээре взвод десантников, среди черной зловонной резины торчали лишь обгорелые кости и скалился белозубый череп майора.

Белосельцев отыскал Николая Николаевича в дальнем углу рынка, когда тот прятал баночку меда, купленную у тихого старичка, облизывающего остренькие чистые пальцы.

– Теперь и белки сыты, и пчелки здоровы, – произнес Николай Николаевич, удовлетворенный сделанными покупками. – Теперь и мы в силе, и Бог в славе! – добавил он, увлекая Белосельцева к своему экипажу, приспособленному для перевозки конфет. И опять, усаживаясь на затертое сиденье нелепого автомобиля, вдыхая запах прелых фруктов, бензиновый ветер, дым невидимого кавказского шашлыка, Белосельцев, как наваждение, уловил мимолетный аромат женских духов, словно пролетела бабочка, оставляя душистый след своего полета.

Они въехали в Печатники, в монотонную серо-белую застройку, напоминавшую не затейливые печатные пряники, а сухие, поставленные под разными углами галеты из солдатского пайка. Покрутили по бестолковым улицам и вдруг оказались на берегу Москвы-реки, среди откосов, подъемных кранов, полузатопленных барок, мимо которых мутно и широко текла вода с далекими озаренными островами и медлительным красно-белым сухогрузом. У самого берега, на пустыре, стояли гаражи, и машина Николая Николаевича, похожая на раскрашенную нахохленную птичку, остановилась перед одним из них, с открытой дверью и горящей в глубине лампой.

– Бомбардировщики, которые без бомб, суть истребители. А остальные не значатся, – непонятно изъяснился Николай Николаевич и покинул машину.

Из гаража вышел худощавый подросток в косынке, прижимающей к голове белесые волосы. У него были измазанные руки, которые он отирал масляной ветошью, ярко по-гагарински улыбался гагаринскими же, чуть поднятыми вверх уголками губ.

– Дядя Коля, долго добирался! Клиента привез? – смело, как на равного, посмотрел он на Белосельцева. – Я передние подвески поменял. Будешь-нет проверять? – Он кивнул в глубь гаража, где под лампой, с поднятым капотом, стояла «Волга», туманился железный воздух, смутно различались полки с инструментами, газовые баллоны, верстаки и табуретки. – Давай загоню твой «Гастелло»! – Он ловко поместился в машине и въехал на ней в гараж, заслонив стоящую на яме «Волгу».

Внезапно из гаража, из тусклого мрака, из-под земли, из-за чахлых кустов, казалось, даже с веток облезлого дерева посыпались, выбежали, выскочили ребятишки. Множество, с целый десяток, маленькие девочки и мальчики, смешно, разношерстно одетые, в поношенных курточках, в драных брюках, в линялых, не по росту длинных платьях. Чумазые, глазастые, шумно обступили Николая Николаевича. Стали хватать его за полы пиджака, терзать за руки, подсказывать, норовя вскарабкаться на него. Они были похожи на белок, цепко

прыгающих, цокающих, верещащих. Это сходство еще больше увеличилось, когда Николай Николаевич достал кошелку и стал выкладывать на перепачканные детские ладони купленные конфеты. Маленькие грязные пальцы цепко хватили сласти, почти вырывали, прятали в карманы. Либо тут же разворачивали нарядные фантики, раскрывали серебряные бумажки. Набивали конфетами рот, вырывали их друг у друга, роняли, ползали по земле. Визжали, ссорились, снова лезли к Николаю Николаевичу. Так белки хватают грибы и орехи, прячут в дупла, насаживают на острые лесные сучки и при этом крутят хвостами, скачут, наполняя лес цокающими сочными звуками.

Николай Николаевич улыбался блаженно, расставив руки, словно накрывал детей покровом, защищая от опасности в момент, когда они были поглощены мишурой, лакомились, пачкались шоколадом.

– Опять все деньги потратил, – произнес юноша в косынке, обращаясь к Белосельцеву без осуждения, но с легкой усмешкой, словно извинял Николая Николаевича за его слабость. – Каждый раз пенсию на конфеты просаживает.

– А у меня «Арахис»! – вертела конфетой черноглазая смуглая девочка, чьи коричневые золотистые глаза были обведены синеватой тенью. – У меня «Арахис», «Арахис»!..

– А у меня «Раковая шейка» и «Мишка»! – хвасталась другая, белокурая и синеглазая, подпрыгивая и пританцовывая сношенными туфельками. – А у меня больше ваших!..

– А у меня «Трюфель», шоколадный, с орехом! А у вас нет! – торжествовал миловидный мальчик с русым чубчиком, в слишком просторной, поношенной курточке с оторванными пуговицами. – У тебя, Верка, карамельки липучие, а у меня шоколад за сто рублей!

– Давай, Сонька, меняться. Я тебе две «Раковых шейки», а ты мне «Мишку на севере», идет? – Девочка с голубыми глазами протягивала конфеты другой, рыжеволосой, зеленоглазой, чьи тонкие оголенные руки были в темных синяках.

– Хер тебе! – ответила рыжая, стискивая зло кулачок, в котором была зажата дорогая конфета.

Белосельцева поразило грубое, мужское ругательство, жестоко прозвучавшее из уст веселой, игривой девчушки. Он уже догадывался, что дети, окружавшие Николая Николаевича, были беспризорными. И тот одарял их лакомствами и подкармливал, как сердобольные люди подкармливают бездомных собак и кошек, подсыпают зерно в кормушки зябнущим на морозе птицам.

Заглотив первую порцию конфет, набив про запас карманы, теперь они расправляли красочные обертки и играли в фантики. Но не так, как это делал в детстве Белосельцев, складывая конфетные обертки в плотные маленькие конвертики, после чего сложенный фантик помещался на ладонь, пальцы с силой ударяли о край стола, и цветная бумажка, брошенная катапультой, летела в гущу других, рассыпанных на столе. Накрывала своей плоскостью разноцветный конвертик, делая его собственностью удачливого игрока. И каким богачом и счастливецом чувствовал себя азартный метатель, если его прозрачная, дешевая, от лимонных карамелек бумажка накрывала тяжелый и плотный фантик шоколадной конфеты «Мишка на севере», где заиндевелый медведь, стоя на красочной льдине, подымал морду к серебряному полярному сиянию. Малой грошовой бумажкой выигрывалось целое состояние, помещалось в жестяную коробку из-под монпансье, откуда перед сном, в постели, перед тем, как мама властно и неумолимо выключала свет, фантики ложились на подушку радужными рядами, словно крохотный драгоценный иконостас, перед которым молилась его восхищенная бесхитростная душа.

Дети у гаража играли в иные фантики. Они разглаживали конфетные обертки во всю ширину, складывали их в кипы, делили по размеру, дороговизне, достоинству. Пускали в обмен, ловко перебирали маленькими грязными пальцами. Считали, мусолили, придирчиво наблюдали за партнером, подозревая обман и подвох. Слова, которыми они обменивались

при игре, были: «Твои сто баксов!» – «Еще отстегни!» – «Сшибаю зеленые!» – «Давай по обменному курсу!» – «Ты мне капусту не суй!» Голоса их были азартные, страстные, злые. Глаза блестели. Маленькие руки, хватая кипу бумажек, ловко сметали в карман. Некоторые фантики вырывались из общей кипы, просматривались на свет, словно подозревался обман, возможность фальшивой купюры.

Внезапно из стайки играющих раздались крик, визг. Две девочки сцепились, как маленькие разъяренные кошки. Они тянули в глаза друг другу раскрытые отточенные пятерни, норовили цапнуть за волосы, дерануть кожу, выцарапать очи, разодрать платье.

– Лахудра рваная, кинуть меня хотела! – визгливо выкрикивала смуглая, похожая на цыганочку, девочка с глазами, черными, как жужжащие пчелы, яростная, гневная, беспощадная. – Ты сперва заработай, а потом и хватай!.. На халяву хотела! – Она трясла конфетной оберткой перед своей голубоглазой подругой, которая в ответ толкала ее кулачком, и ее лицо покрывалось пунцовыми пятнами.

– Ты у меня будешь пасть разевать! – кричала она в ответ. – Я Ахмету скажу, он тебя раком поставит!..

Они сцепились, дрались, хватали друг друга за волосы, впивались в кожу ногтями, отстаивая право на собственность в виде конфетных бумажек. Как зверьки, еще учились биться насмерть, выкраивая себе среди жестокого, враждебного мира малую территорию жизни.

Мальчик с чубчиком, миловидный, с тонкой переносицей и синей жилкой на шее, грязно выругался. Он кинулся к дерущимся девочкам, пинками и ударами разнял их:

– Морды себе поцарапаете! С мордами поцарапанными ни хрена не заработаете!.. Ахмет вас обеих раком поставит!

Эти слова и ругательства остудили дерущихся. Девочки разошлись. Они всхлипывали, поправляли растерзанную одежду, подбирали с земли рассыпанные фантики. Мальчик, установивший перемирие, желая его продлить, достал из кармана пачку сигарет. Предложил соперницам. Извлек прозрачную пластмассовую зажигалку, поднес газовый огонек. Обе девочки, черноволосая и русая, молча, по-взрослому, закурили. Глубоко затягиваясь, выставляя нижнюю губу, выпуская струю дыма.

Белосельцев беспомощно, изумленно смотрел на эту скоротечную схватку. Подросток в косынке не вмешивался. Виновато, будто извиняясь перед Белосельцевым, улыбался гагаринской улыбкой. Николай Николаевич печально потупился, не вторгаясь в детскую ссору, признавая свое бессилие, не умея изменить уродство и жестокость жизни, лишь приукрашивая ее мишурой конфетных бумажек.

Эту печаль благодетеля чутко уловил мальчик с чубчиком, бывший среди детей старшим. Он по-взрослому, вразвалку, держа в зубах сигарету, подошел к подростку в косынке:

– Ну чего, Серега, давай включай воду! Помоем «Гастелло»! А то Николаю Николаевичу на грязной ехать неловко!

Из шланга забила вода. Чубатый мальчик, не выпуская изо рта сигарету, стал окатывать целлулоидный автомобиль искристым водяным ворохом, разбивая струю о лобовое стекло с портретом генералиссимуса и Богородицей, о красную звезду, о нарисованный на мятом корпусе самолетный киль. Девочки, уклоняясь от брызг, терли машину губками, мылили, визжали, вылизывали ее со всех сторон, напоминая купающихся детей, которым подбросили для забавы целлулоидную игрушку. Николай Николаевич, опустив усталые руки, стоял в стороне, нежно и печально смотрел на мойщиков.

Парень в косынке, которого звали Серегой, держал в руках ненужную отвертку, бесцельно протирая ее ветошью, поясняя Белосельцеву:

– Вон та черненькая, Ленка, сама не знает, откуда взялась. Из Тамбова, что ли. Как котенок бездомный... Вон та беленькая, Верка, – у нее мать под электричку попала, а больше никого нет, так и слоняется... Вон та рыжая, Сонька, – родители, пьяницы, ее цыганам продали, а она сбежала и здесь толчется... Лешка, пацан, – у него мать и отец воры, в тюрьге сидят, а он из детдома сбежал...

Дети превращали мытье машины в игру. Брызгались, визжали, норовили мазнуть друга друга белой пеной. Паренек направлял струю то на одну, то на другую девчонку, и те восхищенно вопили, делали вид, что сердятся, грозили мокрыми кулачками.

Белосельцев чувствовал, как проникает в него ноющая боль, словно в суставы медленно вонзали иглу, вводили маслянистый ядовитый раствор, и страдание расширялось, как пятно, растекалось по телу.

– Их всех, ребятишек этих, прибрал чечен Ахмет... Гнида сучья, паразит, наркотой торгует... Он их вечером собирает. Пудрит, красит и к азерам на рынок отвозит, в гостиницу, на всю ночь... А утром девчонки и Леа сюда приползают, синюшные, побитые, кто пьяный, кто накуранный. В гараже, на нарах отсыпаются... Вечером Ахметка опять их на рынок везет...

Дети, окружавшие расписную игрушку, брызги воды, радостный хохот и визг напоминали аттракцион. Детский фонтан, придуманный добрым затейником, к которому добрые родители приводили любимых детей. На память, чтобы снова вернуться, кидали монетки. Денежки маленькими кругляками усеяли дно фонтана, переливались, струились. Исчезали, если по воде шлепала веселая детская рука.

Боль разрасталась, жарко и душно заливала грудь, жгла сердце, вливалась в гложущие уши, приливалась к ослепшим глазам. Этой боли не было подобия. Господь, изыскав для человека бесчисленное разнообразие страданий, выбрал для Белосельцева это, прежде неведомое. Словно змея впрыснула в него парализующий яд, который расплывался по телу убивающим пятном боли.

– Люди в милицию обращались: «Арестуйте Ахмета, всех наркотой отравил!.. Над детишками измывается!.. Вы что в милиции, не русские люди?..» А его на час в отделение забрали, допросили и обратно выпустили. Он ментов с потрохами купил, с ними деньги делит. Они у него как охрана работают...

Дети радовались, шалили. Рыжая девочка, вся мокрая, в прилипшем платье, с потемнелыми от воды волосами, вырывала шланг у мальчишки, визжала. Направляла струю в дверцу автомобиля, зажигая на стекле серебряную водяную брошь. Другие восхищенно хватали эту лучистую водяную звезду, которая улетала из их мокрых ладоней.

Белосельцев не мог шевельнуться. Боль, которую он испытывал, причиняла страдание сама по себе и одновременно воскрешала все прежние виды боли, когда-либо им пережитые. От ранений, ожогов, тоски, сострадания, душевного помешательства, ревности, перелома костей, предсмертного ужаса, вида бессильной погибающей Родины. Эта боль была прама-терь всех прочих видов боли. Она рождала их всех заново, помещала в плоть, кости, мозг, изнывающее сердце. И он стоял, как у пыточного столба, и кто-то невидимый, жуткий, в колпаке палача, мучил его. Рылся отточенным железом в его хлюпающих внутренностях.

– Оксана, девчушка, – беженка из Казахстана... Ее азеры какой-то болезнью заразили... Ахметка избил, сказал, что живьем закопает, чтобы сразу не разносила... Она в реку бросилась... Мы с Николаем Николаевичем выловили, откачали... Теперь в больнице лежит, лечится. Николай Николаевич ей лекарства возит и мед покупает...

Мир, в котором жил Белосельцев, был недостойн существования. Должен был погибнуть, распасться на изначальные атомы. Чтобы Бог, убедившись в ошибке своего творения, получил возможность создать мир заново, по иному замыслу и чертежу. Распад мира, от которого отрекся Бог, уже начался. Происходил в нем, Белосельцеве. Он распадался на изна-

чальные клетки, исходные молекулы, первичные безымянные корпускулы. Боль, которую он испытывал, была страданием порочного, обреченного мира, который Бог отзывал обратно. Стирал его изображение. Возвращал в мироздание очищенные от скверны, стерилизованные частицы, отбирая их у богомерзкой падшей материи.

– Я Ахметку достану... Я его в джипе достану и в казино достану... Я его на рынке возьму и в ресторане возьму... Если в Чечню сбежит, я его, черножопого, там достану... Осенью в армию иду, в Чечню попросился... Буду его по горам гонять, как зайца, пока его уши вонючие на подметки себе не пушу... За ребятишек отомщу... – Подросток, еще недавно казавшийся смешливым и легкомысленным, теперь был темен, жесток лицом. Уголки губ были опущены, как у беспощадного бойца, готового нанести удар. Отвертка в руке мерцала, словно нож.

Белосельцев любил его как сына. Исповедовал его молодую ненависть. Ненавидел тех, в кремлевских палатах. Их чавкающие плотоядные губы, чуткие и влажные, как у крыс, носы, ненасытные, пожирающие мир глаза, потные похотливые ляжки, усыпанные алмазами пальцы, неутомимость, с которой они хватали, жевали, переваривали. Бесстыдство, с каким смердили и пакостили в святых местах. Топтали любимую Родину, мучили гибнущий беззащитный народ. Эта ненависть была праведна, она укрепляла веру в безусловную справедливость дела, которому он служил. Избранник, кого, сберегая и пестуя, проводя над пропастью, они приведут во власть, положит конец страшному игу. Изгонит из кремлевских палат жестоких крыс. Спасет от гибели этих брызгающих водой, измученных и беззащитных детишек.

Дети отложили опустевший шланг. Они отдыхали, оглаживали мокрые волосы. Приводили в порядок мокрую одежду. Машина, влажная, умытая, напоминала цветную ракушку. Николай Николаевич что-то говорил чубатому мальчику, передавал ему фунтик с лекарствами, баночку меда, должно быть, для больной Оксаны. Дети еще пощebetали, поскакали и все разом, как птицы, снялись и исчезли, мелькая на пустыре, на отдаленной дороге, оставив после себя легкое гаснущее свечение.

Солнце опускалось к реке, освещая травяной остров красным светом. Краны порта казались красными. Затонувший остов ржавой баржи выглядел сочным, свежим, словно покрашенный суриком. Руки Николая Николаевича, пропитанные маслом, запорошенные железом, были опущены, и казалось, он только что мешал в большом тазу раздавленную малину, и теперь этот таз, полный варенья, висел над рекой, и под ним на воде лежал след пролитого сока.

Они сидели с Белосельцевым у речного откоса на старом бревне, и Николай Николаевич тихо вещал, сосредоточиваясь внутренним оком на раскрытой, невидимой книге, вычитывая из нее длинные незавершенные строки.

– Были Печатники, а стали Печальники, потому такие начальники... Оксана – царевна, ее Змей ужалил, а мы отстояли... Она птичка Божья, ей рай снится, а ее Змей в ад утащил... Райских птичек нельзя стрелять, они мудрость Божья, им перышки Бог раскрашивал... Змея с земли не видать, ты взлети, тогда и увидишь... Я икону пишу, ангел с крыльями, капитан Гастелло... Он Змея с высоты увидал, сам знаешь, что вышло...

Невидимая книга, которую держал на коленях Николай Николаевич и водил медлительным пальцем, была богословским учением. Она была написана загадочным языком, состоявшим из толкований и притч. Учение содержало в себе космогонию мира. Как и в русских волшебных сказках, в ней присутствовали образы яблока, Змея и птицы. Образ умыкаемой Змеем царевны и витязя, убивающего жестокого Змея. Образы рая и ада, простиравшихся где-то рядом, за домами Печатников, за травяным озаренным островом, на который опускалось малиновое солнце.

В книге были буквицы, перевитые цветами и листьями, диковинные животные, невиданные растения, скалистые горы, на которых возвышались затейливые палаты. Николай Николаевич считывал из книги отдельные отрывки, допуская пропуски, полагая, что до Белосельцева дойдет сокровенный смысл учения.

– Отчего ты мне друг? Оттого, что другой... Русские люди – другие... Они от другой травы, от другой земли, от другого камня... На русском камне весь мир стоит... Когда Змей русский камень сдвинет, тогда и мир завалится... Не хочу быть другим, да Бог велит... Русский камень больно тяжел... Из него Голгофа сложена... Христос под русским камнем лежит, товарищ Сталин, Александр Матросов... Русский камень только детям под силу... Все русские люди – дети, а кто для них мать, это сам пойми...

Белосельцеву казалось, что он читает берестяные грамоты, найденные в темной глупине, среди истлевших мостовых и сгнивших срубов. Часть текстов была утрачена, а оставшаяся не позволяла понять всю полноту учения. Его смысл постигался не усилиями разума, а наивной и ищущей верой. Белосельцев верил написанным на бересте прорицаниям. Учение откладывалось не в голове, не стройным, обоснованным знанием, а в груди, медленно расширявшимся мягким теплом.

– Стрела мира летит против солнца, а русская стрела летит на солнце... Река мира течет под гору, а русская река течет в гору... Нам Бог землю дал, чтобы мы ее заново слепили руками и поцелуями... Христос в Россию придет и каждого в глаза поцелует, тогда и рай увидим... Красную Пресню знаешь?.. Там генерал Макашов... Ему верь... Он на жидов поднялся, за это его и убили...

Все, что слышал Белосельцев, казалось безумием. Голова прорицателя была полна тумана, в котором являлись размытые видения и образы. Но эти видения объясняли Белосельцеву его самого. Он был другой. Его стрела, пусть на излете, продолжала стремиться к лучезарной таинственной истине, которой никогда не достигнет. Он заблуждался, терпел поражения, был обречен на неведение. Но верил, что на смертном одре, перед тем как исчезнуть, кто-то любимый и чудный прильнет к изголовью, поцелует в глаза, и возникнет видение рая. Бочка с застывшей водой. Вмерзшая в лед ветка красной рябины. Холодная синева в высоте.

– У Змея топор, томагавк называется, потому на Россию гавкает... Змей топором русский рай до пеньков вырубает, а нам снова сажать... Каждые сто лет заново рай сажаем, а яблок никак не отведаем... У России цари – садоводы... Царь Иван – садовод, в Казани сад посадил... Царь Петр – садовод, в Полтаве сад посадил... Сталин – садовод, в Берлине сад посадил... Теперь одни пеньки... Русский народ – трава, его косят, головы, как цветки, летят... Но и в косе усталость, железо о цветок снашивается, потому как живем без вождя... Будет вождь, имя ему Избранник, но не мы выберем... Чтоб ему в Кремль пройти, надо Змея убрать, а то не пройдет... Кто Змея от Кремля уберет, тот герой. Рядовой Матросов – герой... Лейтенант Талалихин – герой... Капитан Гастелло – герой... А нам с тобой помолчать, еще повидаемся...

Белосельцев был поражен. Прорицатель своей путаной речью угадал его, Белосельцева. Назвал Избранника. Ясновидящим оком разглядел за кремлевскими стенами царский зал, бесстыдное пиршество. Избранника, бесшумно явившегося на совет нечестивых. Легкое дыхание света над его бровями и лбом. Встреча с блаженным была не случайной, она входила в загадочный замысел, где ему, Белосельцеву, выпадала неотвратимая роль. Их связь была путана и невнятна, как и сами речения, где лишь смутно угадывались контуры древней религии. И хотелось запомнить, записать речения, чтобы позже, в тиши кабинета, обложившись томаами книг, орнаментами древних культур, оттисками наскальных рисунков, берегами вологодских холстов, расшифровать туманную суть. Раскрыть вероучение.

– Русский рай есть Победа... Победа есть Бог... Жуков есть Бог Победы... Если ты есть Победа, тебе и молюсь... На станции «Баррикадная» многие ходят, которых в живых нет... Пойди и поймешь... А теперь помолчим... Солнышко спать ложится...

Круглое солнце касалось воды. словно огромная таблетка красного стрептоцида растворялась в реке. Остров был малиновый. Затонувшая баржа потемнела, казалась фиолетовой. Низко над водой, бесшумные, как красные стрелки, пролетели утки. Белосельцев поднялся с бревна, простился с умолкнувшим, не ответившим на поклон Николаем Николаевичем, махнул рукой парню в косынке и пустырями, мимо складов и гаражей, уже в сумерках, вышел к метро.

На углу многоэтажного дома, под уличным фонарем, стоял джип. Дверцы были раскрыты, и молодой уса́тый кавказец в кожаной куртке, с крутыми плечами, подсаживал в машину ребятишек, тех, что недавно веселились и брызгались у гаража. Девочки были в коротеньких юбках, на высоких каблуках, с обнаженными хрупкими руками. Их лица были покрыты гримом, глаза подведены, губы в яркой помаде. Чубатый мальчик был причесан на пробор, волосы блестели от бриолина. Он был облачен в темный сюртучок и бабочку, был похож на маленького пианиста, выступающего на музыкальных конкурсах. Чеченец подсаживал их в машину, посмеивался, легонько подшлепывал. В глубине машины сидели еще двое, в кожаных куртках, такие же смуглые и уса́тые. Они принимали девочек себе на колени.

Джип укатил, влажно помигивая хвостовыми огнями. Белосельцев смотрел вслед, испытывая такую боль, словно напоролся грудью на железный штырь, и теперь остроконечная дыра заполнялась хлюпающей кровью. Ненависть его была столь велика, что уличные фонари в его глазах увеличились и стали лиловыми.

Глава седьмая

Он ехал в метро, вспоминая разговор с Николаем Николаевичем, пытаюсь уразуметь смысл учения. Словно с древнего наречия, на котором когда-то изъяснялись мудрецы и кудесники, Белосельцев делал перевод на современный язык, за обилием drobных, избыточных слов переставший выражать глубинные мысли. Он вдруг вспомнил наказ прорицателя посетить станцию «Баррикадная». Невзирая на усталость, изменил маршрут и, пересаживаясь с поезда на поезд, отправился на указанное место.

У выхода, словно черные птицы из разорванной сетки, разбегалась толпа.

Под мелким дождем Белосельцев стал удаляться от шипящей сверкающей улицы в темноту пустынного сквера, над которым, заслоняемый древесными кронами, белый, словно огромная театральная маска, возвышался Дом Правительства. Приближаясь к дому, он почувствовал сквозь летний пиджак и рубашку дыхание льда. Казалось, стволы деревьев, земляная тропинка, чугунная ограда сквера покрываются изморозью.

Этот могильный холод был вызван обилием смертей, случившихся здесь несколько лет назад, когда улицы и аллеи сквера кипели толпой, краснели в дожде знамена, отряды ОМОНа, в железе, в белых металлических касках, освещенные огненной ртутью, махали дубинками, раскалывали щитами толпу, ломали черепа, с грохочущим стуком выдавливали демонстрантов из сквера. В те осенние недели и дни к осажденному дому на помощь баррикадникам рвалась и стенающая Москва, и в солнечный ослепительный день танки били с моста, и от каждого выстрела с деревьев осыпалась листва, и на белом фасаде дворца кудрявился взрыв, и черно-красная копоть лениво ползла из окон вверх по белому камню – и он, Белосельцев, в ужасе смотрел через реку, как трассеры впииваются в дом. Позже мертвое обгорелое здание дикой руиной торчало на набережной, укрытое тканями, оно было похоже на синего мертвеца, завернутого в саван. С тех пор это место вызывало у Белосельцева не исчезающее страдание, непреходящий ужас, будто под деревьями все еще бродили тени убитых баррикадников, души изнасилованных девушек, звучали голоса расстрелянных офицеров. Дом Правительства, голубоватый, сияющий, сквозь черную ограду казался саркофагом, где в жидком азоте лежал голый огромный труп.

Он приблизился к ограде, к тихому, безлюдному месту, где в теплом морозящем дожде стояли поминальные знаки. В октябрьские дни тут было многолюдно и шумно. Тут служили молебны, возлагали цветы, пили водку, обнимались и плакали, в чем-то упрекали друг друга, в чем-то винулись. В толпе появлялись забытые вожди, померкшие, ушедшие в небытие депутаты. Мелькали казачьи мундиры, офицерские кители, золотые ризы священников. Теперь же, в тихом летнем дожде, среди влажных запахов сквера, Белосельцев стоял один на крохотном участке земли, отведенном для поминания мертвых.

Тут возвышалось корявое дерево с расprostертыми суками, на которых вяло качалась матерчатая обветшавшая лента, слабо струилась серебряная паутинка фольги. В траурные дни дерево украшалось стягами, увешивалось венками, на него крепились транспаранты и лозунги, и оно возвышалось над толпой, как языческая Берегиня, в уборах, рушниках, ожерельях, и всяк проходящий норовил коснуться его шершавой коры.

Тут же у дерева стоял православный крест с резным распятием, с земляным холмиком, на котором малиновым тихим огнем горела лампада, лежали огарки церковных свечей, стояли поминальные стаканчики, увядали букеты цветов.

Чуть поодаль, сооруженная из железной арматуры и труб, с наброшенными кирпичами и досками, топорщилась маленькая баррикада. В нее был вплетен обрезок колючей проволоки, той, что, подобно кольчатому жестокому змею, опоясывала осажденный дом. К бар-

рикаде был прикреплен алый лоскут, наклеены прокламации и листовки. Тут же лежали противогазная сумка, рабочий бушлат, пластмассовая каска баррикадника.

Три знака, три поминальные святыни соответствовали трем стихиям, принимавшим участие в восстании. Дерево было языческим божеством, которому поклонялись защитники из «Славянского собора» и «черные венеды». Вооружась автоматами, они продолжали носить на голове тонкие золотые перевязи, держали на груди ладанки с нордическими рунами и магическими славянскими символами. Крест собирал вокруг себя православных, казаков, монархистов. Тех, кто водил вокруг осажденного дома крестные ходы, выносил навстречу бэтэрам чудотворные иконы или, осенив себя крестным знаменем, кидал бутылку с бензином под гусеницы броневика. Баррикада была «красной святыней», ей поклонялись коммунисты, дружинники «Трудовой Москвы», соратники Зюганова и Анпилова. Но все они, приверженные разным учениям, из разных движений и партий, переходили от креста к баррикаде, от православной лампы к дереву, братались, целовались и плакали. Они были русскими, которых убивали в смертельном бою за Родину.

Белосельцев глядел на крест с зажженной лампадой, на дерево с матерчатой лентой, на колючую, похожую на цветок чертополоха баррикаду, и ему казалось, что все они прорастают сквозь его дышащую грудь и, уже нераздельные, единым стволом и кроной восходят в бесконечное небо.

Он увидел, как в сумерках из-под черных деревьев возник человек. В длинном плаще, напоминающем темную рясу, с поднятым воротником, хоронясь от дождя, он подошел к кресту. Трижды перекрестился, наклоняясь, сгибая сутулую спину. Белосельцев, не видя лица, чувствовал, что человек чем-то ему знаком. Тот кланялся, повернувшись спиной, но казалось, он знает, что Белосельцев за ним наблюдает. Постоял, созерцая лампаду, словно молча читал поминальную молитву. Обернулся на свет фонаря. Белосельцев узнал Гречишникову.

– Ты? – изумился Белосельцев, оглядывая его хламиду, весь его смиренный облик. – Как ты здесь оказался?.. Ведь мы с тобой днем расстались!.. Следил за мной?

– Что ты!.. Сам поражен!.. Иногда сюда прихожу... Именно в это время... Не ожидал тебя здесь увидеть...

– Неужели возможны подобные совпадения?

– Суахили вывел закон совпадений, по которому элементы мира, предназначенные Творцом для строительства, начинают тяготеть друг к другу. Мы выбраны Творцом для строительства. Все, что нас теперь связывает, вписывается в закон совпадений.

Слова не объясняли, а лишь давали намек на объяснение. Мир, в котором жил Белосельцев, становился все загадочней. Год от года таинственней. Каждый миг его бытия был исполнен загадок. Каждое место, где он оказывался, казалось волшебным. Было исполнено тайного смысла. Место, где они сейчас находились, – между деревом, крестом и баррикадой – рождало мерцающее, едва различимое свечение, столпом уходящее ввысь. И в этом столпе слабо переливались, искрились мельчайшие частички мироздания. Они соединяли его верящую, ожидающую чуда душу с бесконечно удаленным центром Вселенной. Туда, в этот центр, прорастало волшебное дерево, уходил православный крест, возносилась баррикада. Тайна мира, которую он лицезрел, была огромней, чем их случайная встреча. Она, эта тайна, нуждалась в разгадке, она требовала великих напряжений ума и души, а не их случайная встреча. Они стояли в морозящем дожде, и казалось, медленно отрывались от земли, восходили ввысь по мерцающей прозрачной дороге.

– Сегодня я слушал пророка, – тихо произнес Белосельцев, еще не уверенный, должен ли он делиться с Гречишниковым сокровенными переживаниями, – слушал его невнятные притчи. Они касались нас, нашего священного дела. Как будто он нас видит и слышит. Наблюдает за нами. Что-то силится объяснить, на что-то вдохновить и подвигнуть. Его про-

роческий язык слишком прост. Лишь наполовину язык, а в остальном – шум ветра, бульканье воды, крик птицы. Он волхв, колдун, православный блаженный. В него вселился дух, отобрал человеческий разум, но исполнил знания. Если его понять, расшифровать его путанные речи, то возникнет учение. Религия русской Победы...

– Знаю таких блаженных, – взволновался Гречишников, колыхнув долгополым, похожим на подрясник плащом. – Они до сих пор встречаются на папертях русских церквей. Неизвестно, откуда они берутся и кто их посылает на Русь. Он может быть космонавтом, который вышел в открытый Космос и там вдруг повстречал такое, что оно сделало его блаженным. Он может быть чернобыльским спасателем, который заглянул в четвертый разрушенный блок и там такое увидел, что стал пророком. Он может быть грозным царем или кровавым вождем, но вдруг ему приснился вещий сон, и он бросил дворцы и палаты, ушел в леса, чтобы там, среди мхов и лишайников, проповедовать истины. Должно быть, ты встретил одного из таких. Он пережил потрясение, и ему открылась истина.

– Ты это знаешь? – спросил Белосельцев, поражаясь глубине и истинности услышанных слов. – Тебе такие встречались?

– Суахили был таким. Он пережил откровение, Бога узрел. Крестился, собрал нас, как апостолов...

Белосельцев жадно, страстно всматривался в лицо Гречишникова, которое казалось строгим и истовым, как на фреске. Лицо апостола, обнимавшего шею орла. Или державшего священную книгу. Или возлегшего на косматую гриву льва. Они узнали друг друга по тайному знаку и жесту. Пришли на встречу в условленное потаенное место. Они были учениками одного и того же Учителя. Окруженные ненавидящим миром, гонимые враждебным племенем, они ушли в катакомбы, чтобы вычерчивать на камнях одни и те же божественные фигуры и символы. Молиться у одного алтаря. Пересказывать друг другу слова одного учения. Они были братья по вере. Их обоих ожидал мученический венец, и они с радостью были готовы его принять.

– Мы, русские, – другие, как сказал прорицатель Николай Николаевич, потому и кладем свои жизни «за друга своя», – начал Белосельцев, стараясь не отступать от пророческих слов и лишь заполняя в них пропуски. – Мы выбраны Богом, или Космосом, или творящей мироздание силой, чтобы быть другими. Помышлять о другом, стремиться к другому. Господь слепил русских из другой глины, замешал на другой воде, вдохнул другое дыхание. В час творения над нами сияла другая звезда, светил другой сверкающий знак. Весь мир от начала стремится выстроить Вавилонскую башню с устрашающим начертанием ада. А мы от язычества, вот от этого священного древа, и от первых святителей – вот от этого честного креста, от народных заступников и радетелей – вот от этой красной баррикады, тысячу лет мы строим храм с начертанием светлого рая. Господь так провел наши реки, прочертил дороги, устроил наши холмы и равнины, так направил воздушные ветры и морские течения, такие песни вложил в уста нашим бабкам, такие сказки нашептал нашим внукам, что мы, избранные Богом для другого мира, уже не сможем никогда измениться. Среди зла и кромешной тьмы мечтаем о рае, о вселенском благе, о любви, которая должна сочетать и людей, и лесных зверей, и цветы, и камни, и души, и звезды небесные. Об этой любви вся наша история, все наши муки и жертвы, все богословские трактаты и ученые книги... Так я понял слова прорицателя Николая Николаевича из Печатников, который ездит на смешном автомобиле с названием «Гастелло»...

Белосельцеву казалось, что он разгадывает смысл невнятных речей прорицателя. Считывает строки учения с невидимого, развернутого свитка. Не он говорит, а кто-то незримый и вещий приник к его чуткому уху, вдвухает слова, и они тут же возникают у него на устах.

Гречишников смотрел на него с обожанием. Дорожил каждым услышанным словом. Белосельцев обретал в нем духовного брата. Им обоим открывалось учение, обоих вдохновляло на единовременный подвиг.

– Говори!.. – побуждал его Гречишников, прислоняясь к языческому дереву, словно приобщался к волшебным силам, живущим в древесных волокнах. – Только ты это и можешь сказать!..

– Быть другими – не радость для нас, не веселье, а великая ноша и бремя. – Белосельцев слышал, как жаркий шепот раздается у его уха. – Мир всей своей тяжелой громадой, всем непомерным весом, всеми соборами, пирамидами, капищами летит в погибель. А мы не даем ему упасть. Выправляем дорогу, которая валится в пропасть. Выпрямляем чугунный рельс, по которому катится в бездну грохочущая колесница мира. Голыми, сбитыми в кровь руками удерживаем ее на краю. За это мир ненавидит нас. Он хочет в погибель, жаждет ада, торопится сгореть и пропасть. И нас, спасающих его, ненавидит. Мы – помеха миру, укоризна миру, и мир на нас ополчается. Россия – помеха аду, и ад желает ее поглотить. Нас убивают испокон веков. Стирают с лица земли. Вырубают до пеньков посаженный нами сад. Выжигают взлелеянный нами рай. Хотят залить Россию огненной серой, синильной кислотой, лишить рассудка, заразить смертельной болезнью. Мы несем бесчисленные траты. Мучаемся невыносимыми муками. Но мы другие и не в силах измениться. Сажаем заново сад, взращиваем заново рай. Мы – свет миру, укоризна миру, спасение миру. Так задумало нас мироздание. Так объясняют нашу долю Серафим Саровский и Владимир Вернадский, Николай Федоров и Лев Толстой, Владимир Ленин и прорицатель из Печатников Николай Николаевич!..

Белосельцеву казалось, что наконец он уяснил содержание жизни. Весь его многотрудный путь, скитания и странствия, сражения и войны, заблуждения и духовные поиски находят свое завершение. На священном московском месте, где в туманном столпе мерцают духи героев, ему открылось сокровенное знание. Оно вселилось в него через смутные речи пророка, которые он отгадал. Сам он не был пророком, говорящим от имени Бога. Он был толкователь, раскрывающий пророческий смысл.

Гречишников жадно внимал.

– Как был прав Суахили, когда послал меня за тобой!.. Сказал: «Пойди и приведи Белосельцева...» – Гречишников приближался к кресту с увядшим букетом цветов, к малиновой влажной лампаде. Его губы шевелились, словно читали молитву.

– Мир ополчается на нас и наносит страшное поражение, – Белосельцев чувствовал у уха жаркое дыхание, – горят наши города и посады, истлевают в оврагах наши пророки и мученики, несется по ветру пепел наших книг и икон. Мы в поражении, в разгроме, в великом унижении. Но каждый раз собираемся с силами, отстраиваем города, пишем заново иконы и книги, насаждаем райский сад. Одерживаем русскую Победу. Наша конница вступает в Париж. Наши танки идут по Берлину. Наши спутники летят в мироздании. Наш рай земной расширяется на все континенты. Красный конь на картине Петрова-Водкина. Лазурная чаша на картине Поздеева – суть образы русского рая. Каждый век был веком русской Победы. Каждый век ее у нас отнимали. Сейчас мы снова во прахе. Наш рай осквернен и погублен. В Кремле блудница. На ракетном заводе враг. В школе развратник. В банке вор. Народ расчленен и рассеян. Исконные земли отобраны. И снова, как в былые века, нам предстоит одержать Победу. Подняться из праха. Взлелеять наш рай. Об этом я сегодня узнал у пророка и прорицателя Николая Николаевича, сидя на бревнышке у Москвы-реки, глядя, как опускается солнышко...

Белосельцев дарил это учение новообретенным друзьям. Награждал Гречишникова. Они были не заговорщиками, но братством монахов и воинов. Были не горсткой хитрецов из разведки, но тайным мистическим орденом. Исповедовали мистическую тайну России.

– Я так ждал от тебя этих слов... – Гречишников трогал железную арматуру баррикады, словно старался ее согреть. – Перед смертью Суахили сказал: «Найди Белосельцева... Он имеет мистический опыт... Он напишет философию нашего общего дела... Создаст религию нашей борьбы...» Теперь я вижу, такая религия есть...

– Народ не уснул, не умер. Сражается, бьется. Ведет невидимую миру брань, без бомбовых ударов и танковых атак. Каждый год нас меньше на миллион, не хватает земли для погостов. Умираем бесшумно, как трава, которую косит коса. Но и коса затупляется, сталь истирается, режущая кромка сгорает. Скоро совсем истает. В нас попал осколок, остановился у сердца, причиняет нестерпимую боль. На этот осколок накнулись кровавые тельца, взяли его в кольцо, окружили стеной, облепили воспаленной горячей опухолью. Не пускают к сердцу, затупляют заусенцы, оплавливают колючие жала, выдавливают. Миллионы кровавых тельц умирают, жар во всем теле, бред, помрачение. Но осколок медленно, незримо для глаз, удаляется от сердца. Обезвреженный, с умягченными кромками, он замрет под кожей, превратится в рубец. Народ, умирая, ждет вождя. Ждет спасителя. Предчувствует его появление. Слышит его тихую поступь. Видит сияние вокруг его головы. Встретит его ликованием. Вручит ему сбереженные от пожара хоругви, сохраненные от врага знамена. Пойдет за ним неоглядно, всей несметной силой и верой, добывать завещанную, вмененную русскую Победу... Так говорил Николай Николаевич, называя детишек птичками Божьими, которым Бог перышки красит...

Место, где они стояли, было святым. Несколько лет назад здесь убивали героев. Бэтэры стреляли в баррикадников. ОМОН домучивал раненых. «Бейтар» насиловал девушек. Мерцающий столп уходил в небеса, соединяя святыню с Божьим престолом.

Гречишников обнял Белосельцева.

– Все будет как ты сказал... Избранник явился... Победа будет за нами...

Белосельцев благодарно принял объятия друга. Он страшно устал. Его глаза от утомления, от созерцания мерцающего столпа обрели прозорливость. Дерево, минуту назад корявое и ободранное, казалось, вдруг покрылось густыми цветами. Православный крест стоял увитый спелыми виноградными гроздьями. На колючей проволоке, оцеплявшей баррикаду, распустились красные розы.

– Теперь по домам. – Гречишников, колыхая черным, напоминавшим подрясник плащом, стал увлекать Белосельцева под деревья парка к светящейся аркаде метро. – Завтра день больших свершений...

Белосельцев послушно шагал, вверяя себя воле духовного брата. Где-то, забытая им в московских переулках, ждала его старая черная «Волга».

Утром духовный брат позвонил и сказал, что пришло время перенести коллекцию бабочек на заветную квартиру, куда, быть может, уже сегодня вечером нанесет визит Прокурор. Вслед за звонком к Белосельцеву явились вежливые молодые люди, одинаковые в своей ловкости и любезности. Они стали снимать со стен стеклянные коробки. Бережно, словно хрустальные сервизы, уносили коллекцию вниз, помещали в длинный, черный, похожий на катафалк кабриолет, казалось, предназначенный для перевозки мумий и энтомологических коллекций.

На стенах вместо коробок оставались светлые прямоугольники обоев – пустоты его исчезнувшей, незапечатленной жизни. Ему было больно смотреть на эти блеклые бельма, где только что сверкали многоцветные глаза континентов. И он пугался от мысли, что коллекция больше никогда не вернется.

Он прожил среди хрустальных коробок многие годы и представлял себя мертвым, лежащим на диване среди молчаливого многоцветья бабочек. Спутницы его походов, свидетельницы его подвигов, его боевые трофеи и прелестные пленницы, они станут созерцать

его бездыханное тело. Почетным караулом встанут у его изголовья. Их ряды и шеренги, мундиры и звания, отточенная голубоватая сталь, белые перевязи с начертаниями земель и датами походов будут напоминать армию, пришедшую проводить своего полководца. И, быть может, как в древний курган умершего князя или в пирамидальную усыпальницу фараона опускают домашнюю утварь, оружие, драгоценные украшения и любимых рабынь, чтобы те продолжали служить властелину в его загробных скитаниях, так и в его могилу опустят коллекцию бабочек, и они вместе продолжают посмертные странствия.

Когда коллекцию увезли, опять позвонил Гречишников.

– Не тревожься, ни один усик не упадет с головы твоих гренадеров... Загляни в гардероб, извлеки свой лучший костюм и галстук... Через полчаса я приеду...

Ровно полчаса потребовалось Белосельцеву, чтобы облачиться в серый английский костюм, повязать просторным узлом французский шелковый галстук и, разглядывая в серебристом стекле утомленное, словно в легчайшей металлической пудре лицо, отметить среди складок и ломаных линий взгляд прищуренных, с потаенной тревогой, глаз.

Гречишников поджидал его у подъезда, преображенный, в светлом, превосходно сидящем пиджаке, в клетчатых брюках, не в галстуке, а в батистовом шарфе, который он повязал на шее, словно был модным художником или богемным поэтом. Весь его облик и стиль, до мельчайших оттенков, перламутровых запонок, краешка торчащего из нагрудного кармана платка, свидетельствовали о вкусе, любви к дорогой одежде, о том, что он консультировался у опытного модельера.

– Мы сегодня гости званые. – Гречишников поймал его взгляд и белоснежно улыбнулся прекрасно отреставрированными зубами, как улыбаются на рекламах жизнерадостные потребители вкусной зубной пасты. – Положение обязывает.

– Кто нас принимает? – обеспокоенно спросил Белосельцев.

– Весь блеск еврейской интеллигенции, которую собирает Астрос по случаю присуждения телевизионной премии «Созвездие». Постарайся быть милым, хвалить Шагала и Бродского, чуть-чуть грассировать, пару раз шегольнуть знанием театральных постановок Бродвея, и Боже тебя упаси хвалить Макашова. – Он произнес это столь легкомысленно, по-светски, тронув свой пышный шарф, что Белосельцев, не узнавая в нем вчерашнего, в длинной хламиде, апостола, невольно улыбнулся. – Но прежде мы навестим Буравкова в его тайной пещере и захватим с собой. – Гречишников указал на сияющую, сиреневую, с хрустальными фарами «Ауди», которая вскоре бесшумно, словно не имела двигателя, понесла их по городу.

Тайная пещера Буравкова, о которой обмолвился Гречишников, на самом деле была домом приемов телевизионного магната Астроса. В стиле модерн, особняк с изразцовыми панно, на которых фиолетовой кистью Врубеля были нарисованы игривые фавны, ночные фиалки, обнаженные нимфы. Балконы украшали медные решетки в виде переплетенных водорослей, цветущих лилий и лотоса. Зеркальные, со стеблевидными переплетами окна драгоценно сверкали. Внутри все поражало первозданной подлинностью, духом и эстетикой декаданса, так что казалось: вот-вот в гостиную, придерживая длинное бархатное платье, войдет горделиво-таинственная Гиппиус, или появится с тетрадкой новых эротических стихов жгучий, черный, с костяным белым черепом поэт Кузмин, или ступит в небрежной бархатной куртке утомленный известностью художник Фальк. Но вместо них появился Буравков. Белосельцев отметил, что и тот, готовясь к предстоящему торжеству, был одет в строгий, очень дорогой серебристо-серый костюм. Его выпуклую пеликанью грудь прикрывал темно-малиновый галстук с золотой алмазной булавкой.

– Покажи-ка нам свою «Электронную Хазарию», – попросил Гречишников. – Пусть Виктор Андреевич познакомится с хозяевами, что пригласили его на банкет.

– Добро пожаловать в «Электронную Хазарию», – благодушно, бархатным голосом произнес Буравков, провожая гостей сквозь игривые декадентские интерьеры к стальной, окруженной видеокамерами, электронными запорами двери, на которой Белосельцев мысленно прочитал грозную надпись: «Оставь надежду всяк сюда входящий!»

Буравков приблизил к стене свой глаз – к полупрозрачной, врезанной в сталь пластине. Расширил выпуклое, с красными склеротическими прожилками око, словно показывал его окулисту. Пластина всмотрелась в расширенный глаз, сверила его с электронным изображением. Обнаружила сходство, и дверь с легким чмоканьем отворилась. Они вошли в просторный зал с приглушенным светом и едва слышной электронной музыкой, льющейся из полукруглой стены. Помещение своим мягким сумраком, печальной музыкой, округлой стеной, собранной из слюдяных пластин, напоминало колумбарий. И одновременно – диспетчерский зал с большими, погашенными, врезанными в стену экранами.

– То, что вы сейчас увидите, – проговорил Буравков, незаметно облачившись в белый халат, который слабо отливал голубизной от невидимых ультрафиолетовых источников, – есть плод творческого откровения наших лучших кибернетиков, работавших в советское время над супердисплеем. Этот огромный экран должен был высвечивать картину мирового театра военных действий. На дисплее, который они разрабатывали, вы могли увидеть все подводные лодки, плавающие в Мировом океане. Все космические орбитальные группировки, патрулирующие в околоземном пространстве. Локальные конфликты на всех континентах с постоянно меняющейся картиной борьбы. Можно было наблюдать все армии мира, ракетные шахты, перемещения войск, массовый взлет авиации, движение мобильных ракетных установок на железных дорогах и лесных просеках. В случае мировой войны на этом экране вы могли бы следить за развитием апокалипсиса, за разрушением мировых столиц, бросками армий по зараженным территориям, смещением фронтов, исчезновением военных группировок и целых стран. После распада Союза работы над экраном были прекращены, коллектив кибернетиков стал рассыпаться. Но Астрос перехватил лучших специалистов, обеспечил неограниченное финансирование, заставил их работать над проектом «Электронной Хазарии»...

Буравков приблизился к пульту, напоминавшему старинный шахматный столик с инкрустированными темными и светлыми клетками. Тронул кнопку. На овальном экране во всю стену засветилось пятно. Оно всплывало, мерцало, вспыхивало едва различимыми искрами. Наполняло экран млечными сгустками света. Гасло и тускнело в одной своей части. Наливалось светом в другой. Напоминало облако космической пыли, висящее в пустоте мироздания. Пылинки сталкивались, сцеплялись. Укрупнялись и вновь распадались.казалось, пятно дышало, в нем шло движение. Его закручивал влетевший завиток гравитации. Он перемешивал, сбивал, как гоголь-моголь, увеличивая его плотность, намечая ядра и сгустки будущих планет и светил. Это была еще не галактика, не система созвездий, а только слабый ее прообраз, переживающий первые дни творения.

– Здесь собрана информация обо всех членах Еврейского конгресса, главой которого является Астрос. Их социальное положение и статус. Их общественные связи и финансовое состояние. Политические, культурные или коммерческие процедуры, в которых они задействованы. Прогнозируется исход этих процедур. Отслеживается движение карьер, репутаций, восхождение по социальной лестнице. Особое внимание уделяется тому, чтобы место, которое освобождает умирающий член Конгресса или уходящий вверх по ступеням карьеры, тотчас занималось другим, молодым, перспективным членом...

Буравков тронул другую кнопку. Тонкая стрелка коснулась наугад точки в туманном пятне. Точка, выхваченная из туманности, увеличилась, укрупнилась. Каждая мерцавшая в ней пылинка стала различимой ячейкой. В нее было внесено имя. От нее тянулись связи к другим подобным ячейкам. Каждая была включена в бесчисленное количество связей. Все

они, словно паутинки, напрягались, рвались, вновь завязывались, сотрясаемые невидимым пучком. Ячейка светилась, будто крохотный бенгальский огонь, окруженный множеством хрупких лучей. Поджигала соседнюю ячейку, превращая ее в живую лучистую звездочку. На экране прочитывались имена: «Блюменфельд Семен Михайлович», «Ломеко Арнольд Давидович», «Беспрозванный Лев Аронович»... Все они были окружены пушистой мерцающей оболочкой, как легкое пернатое семечко, вырванное из сухого репейника. Подхваченное солнечным ветром, оно несется в синеве через поля, деревни, колокольни на старых погостах, чтобы где-нибудь зацепиться за былинку, коснуться влажной плодоносной земли, кинуться в бурный, мгновенный рост.

– На этом экране вы можете оценить совокупную мощь Конгресса, выраженную в условных единицах, наподобие килобайтов. Она определяется степенью присутствия и уровнем влияния евреев в правительстве, силовых структурах, прокуратуре, бизнесе, банковском деле, науке. Отдельно – в электронике. Отдельно – в биоинженерии. Отдельно – в медицине. Отдельно – в армии и судебной системе. Здесь отслеживается уровень контроля за прессой, отдельно – в телевидении. Присутствие в искусстве, отдельно – в театрах и на эстраде. Особый интерес представляет проникновение членов Конгресса в Православную Церковь, не только в среду иерархов, но и в каждый отдельный приход...

Буравков манипулировал кнопками на магическом столике. На экране мерцающий сгусток то удалялся, то приближался. Разворачивался во всех проекциях. Обнаруживал выпуклости и впадины. Он напоминал мерцающий ком живой слизи. Скопление фантастической лягушачьей икры, отложенной огромной перламутровой жабой в водах весенних болот. Этот студенистый комок был обрызган млечной спермой пупырчатого голубого самца. Согрет лучами теплого солнца. Пронизан мерцающей радиацией звезд. Он разрастался, созревал, взбухал каждой отдельной икринкой. В прозрачной капельке слизи виднелось черное уплотнение, живая твердая точка. Она росла на глазах, пульсировала, трепетала. В ней дергался похожий на запятую темный зародыш, крохотный головастик, свернувшийся дрожащий малек. Мощь непрерывного роста разрывала студень. Из прозрачного, липкого, как клейстер, месива выбирались в чистую воду маленькие юркие головастики. Прыскали во все стороны стремительными черными стрелками, впивались в травы, в сочные берега, в питательный ил. Дышали, ели, увеличивались в размерах, обрастали перепончатыми лапками, покрывались пупырышками, сбрасывая ненужные хвосты. И вот уже все болото кишело несметными жизнями, дрожало под луной от скопления скользких страстных существ, ненасытных, жадно сталкивающихся тел. Болото оглашалось немолчным, все забивающим кваканьем.

– Вы можете, к примеру, узнать, – Буравков водил по экрану волшебным лучом, – можете узнать, как один влиятельный член Конгресса, занимающий пост в Правительстве, сообщает другому члену, играющему на бирже ценными бумагами, конфиденциальные сведения о готовящемся обвале акций. И тот успевает провернуть выгодную сделку, получить огромный доход, перевести его в офшорные зоны, растворить бесследно в потоках мировых криминальных финансов. При этом множество мелких предпринимателей в русских провинциях, лотошников, челноков, по крохам собирающих скромные состояния, разоряются. Люди начинают пить горькую, пускают пулю в лоб. А чиновник из Правительства пересаживается на «шестисотый» «Мерседес», строит великолепную виллу по Успенскому шоссе...

Теперь на экране было скопление одинаковых мерцающих чешуек, встроенных в огромную кристаллическую решетку, сквозь которую проносились вихри энергии. Отдельные кристаллики складывались в причудливые орнаменты, образовывали матрицы и узоры. Они были похожи на элементы огромного компьютера. Подобно живым нейронам, соединялись в гроздья, в бессчетные скопления нервных клеток, в коралловый риф, созданный жизнедеятельностью отдельных моллюсков. Переливались свечением, напоминая северное

сияние. Казалось, по ним постоянно прокатывается конвульсия, проходит болезненная судорога, поджигая и гася отдельные участки мозга. В нем происходит мыслительный процесс. Вырабатывается глобальная комбинация. Зреет огромная, непомерных объемов, мысль. Эта мысль способна объять суть мировых процессов, смысл истории, иерархию земных и небесных сил. Тайнственные, пробегавшие по экрану сполохи отражали усилия мирового интеллекта, куда каждый посвященный еврей, каждый призванный член Конгресса вносил свою малую лепту, свое разумение и смысл. Как пчела, брызгающая в соты сладкую капельку меда.

– Вы без труда углядите действие оборонного лобби, возглавляемого еврейским вице-премьером. – Буравков нажимал на кнопку, вырывая из общей картины отдельный фрагмент, который словно увеличивался под выпуклой линзой, принимал вид разветвленной схемы со множеством имен, учреждений и фирм, стянутых стропами. – Например, здесь вы видите, как израильская фирма, разрабатывающая приборы ночного видения для боевых вертолетов, получила заказ в обход российских конструкторских бюро, хотя приборы превосходят по качеству израильский аналог. Деньги из военного бюджета России идут в Израиль, израильская технология поступает на секретный боевой вертолет, который становится прозрачным для чужих разведок. А великолепное русское КБ разоряется, чахнет без заказа. Рабочие и инженеры разбегаются, занимаются мелкой спекуляцией и торговлей. А изобретатели и ученые уезжают за границу, в Америку или в тот же Израиль, получая щедрые вознаграждения...

На экране медленно свивался и развивался мягкий голубой завиток, словно качалась в теплых водах приплывшая сине-зеленая водоросль. Заброшенная штормом, или занесенная птицей, или подхваченная плавником акулы, или зацепившаяся за винт корабля, она оказалась в благодатном, насыщенном жизнью море, с бирюзовым планктоном, несметными косяками рыб, играющими касатками и дельфинами. Водоросль жадно всасывает кислород, выпивает морские соли, хватается солнечный свет. Разрастается, выедая другие жизни, превращая изумрудное прозрачное море в вязкую тину, в смрадную плесень, в которой запутываются и гибнут киты, всплывают вверх брюхом задохнувшиеся дельфины, булькают ядовитые пузыри. Зловонье летит к берегам, выжигает прибрежные леса, засеивает отмели скелетами рыб и птиц, сеет болезни в приморских селеньях.

– А вот открывается невидимый миру заговор по удушению русского писателя. – Буравков направил электронный перст на участок туманности, мерцающей, как ночное море. Словно водолаз, он извлек на поверхность фрагмент затонувшей подводной лодки, доступный для обозрения. – Его новый роман о русской истории нигде не печатается. Рукопись, в какое бы издательство, возглавляемое членом Конгресса, он ни приносил, отвергается. О нем не говорят. На его имя наложено табу. Его произведения запрещено упоминать. Критики пишут хвалебные оды малоизвестным еврейским сатирикам, смешливым поэтам и рассказчикам, а исторический роман русского писателя о переломной эпохе Родины замалчивается. Писатель существует во плоти, живет, пишет. Но его и нет. Он не существует. Его присутствие можно угадать по бестелесной пустоте, образовавшейся вокруг его имени. Он приговорен к смертной казни через удушение. Он бродит с целлофановым мешком на голове, выпучив глаза, беззвучно и страшно открывая рот. А потом исчезает. Его провожает в последний путь горстка таких же, как и он, забытых русских писателей под осенним дождичком на Хованское кладбище. А в это время на еврейском блистательном празднике присуждают престижную премию «Созвездие» прелестной еврейской дикторше. Венчают миловидную кудрявую головку алмазной короной...

Белосельцеву было жутко. Ему казалось, что он попал в плен к огромному клейкому грибу, который обступал его со всех сторон. Он налипал на лицо, втискивался в глазницы,

раздвигал губы и вдавливался в них. Гриб был из тех, что московские хозяйки разводили в толстых пузатых бутылках, питая его спитым чаем и сладким сиропом, но только огромней, непомерней. Он просачивался внутрь сквозь ноздри, проскальзывал в рот. Отслаивался внутри липкими пленками, обволакивая кишечник. Удушал, набиваясь в легкие пористой губкой. Впрыскивал в кровь разноцветные яды. Разлагал, рассасывал, растворял в кислоте кости и внутренности. Съедал его заживо, переваривая огромным желудком.

– Главный заговор, укутанный во множество непроницаемых оболочек, спрятанный от глаз множеством отвлекающих скандалов, праздников, фестивалей, главная цель Конгресса, замаскированная сотнями ложных целей, есть устранение от власти Истукана и выдвижение на его место Мэра. Этому посвящена огромная, охватившая весь Конгресс работа. Распределенная по средствам информации, по силовым ведомствам, по корпорациям и банкам, включающая в себя сбор колоссальных денежных средств, поддержку зарубежных отделений Конгресса, иностранных разведок, тайных обществ и клубов, парapolитических образований и лож. Эта работа должна привести в ближайшее время к моментальной смене власти. К устранению русского самодура, изъеденного болезнями и сумасбродством, и воцарению энергичного, деятельного, управляемого Конгрессом Мэра. Это послужит окончательному утверждению в России новой еврейской реальности, которую сами они называют «Новой Хазарией»...

Туманность на экране приняла образ разветвленного дерева, похожего на баобаб. Со множеством ветвей и веток, огромным массивом листвы, которая колыхалась, волнуемая невидимым ветром. Дерево росло, увеличивалось, занимая все больше пространства и неба. На нем созревало множество плодов. Их обилие, плотность и спелость увеличивались по мере приближения к центру кроны, где в густой сердцевине, наполненный соками, светящийся, драгоценный, созрел диковинный плод. Увеличенный волшебной линзой, выхваченный из гущи листвы, возник кокон, причудливо сотканный из множества имен, званий, титулов. Они соединялись в клубок, переплетались, стягивались явными и едва уловимыми связями. В этом коконе, словно в прилепившемся осином гнезде, возвращался заговор. В нем участвовали высшие чины государства, генералы разведки, чиновники президентской Администрации, известные телерепортеры и финансисты. В центре клубка, окруженный заговорщиками, как осиная матка, оплодотворяемый ими, постоянно плодонося, высевая вокруг множество яиц, червячков и личинок, присутствовал главный вершитель заговора – московский Мэр.

– «Новая Хазария» есть грандиозный план перенесения в Россию центра еврейской цивилизации. Создание для нее абсолютной безопасности. Обеспечение условий для ее максимального процветания и развития, исключающих русский реванш, любую форму русского самосознания, русской суверенной государственности...

Белосельцев почувствовал, как опрокидывается мир, в котором он живет. На этот мир дул из звезд гигантский черный сквозняк. Он сдирал с земли жизнь, сворачивал ее в свиток, свертывал в жгут. Устремлял этот свернутый, свитый, словно веревка, мир в открывшуюся скважину, в тесную бездонную щель. Белосельцев полетел в эту свистящую бездну, теряя сознание. И упал перед экраном без чувств.

Очнулся и увидел над собой встревоженное лицо Гречишникова. Тот легонько похлопывал его по щекам, приводя в чувство:

– Тебе лучше?... Извини... Но это был тест... Мы проверяли тебя таким образом на непричастность к заговору... Ты выдержал тест... Всякого, кто входит в наш союз, мы сажаем под это электронное дерево. «Дерево познания Добра и Зла»... Чистый, незапятнанный человек, как правило, не выдерживает и лишается чувств...

– Не все так безнадежно и страшно. – Буравков помог Белосельцеву подняться. Его белый халат переливался в сумерках фиолетовыми разводами, словно крыло бабочки. На

экране продолжало шевелиться, мерцать листвою огромное электронное дерево, словно колеблемое незримым ветром Вселенной. – Все, что вы слышали, отнимает рассудок и вызывает помрачение. Но это не фатально. Не Бог выращивает во Вселенной это библейское дерево. Я – его садовник. Я знаю законы его роста, движение корневой системы, питательную среду для его листвы и плодов. Разве вы не замечаете, что иногда один влиятельный член Конгресса убивает другого?.. Один еврей безжалостно истребляет другого?.. То разбивается самолет с блистательным еврейским журналистом. То находят в подъезде с простреленной головой любимца телезрителей. То преуспевающий еврейский банкир умирает от странной лучевой болезни, словно в его кабинете рассеяна пыль Чернобыля... Я могу одним нажатием кнопки отсечь это дерево от питательной среды, и оно зачахнет. Могу перепутать в нем корни и ветви, движение соков. Создать в нем путаницу, хаос, так, чтобы одна его часть поела другую. Чтобы вместо плодов на нем вырастали уродливые грибы, сжирающие его ствол. Плодились мхи и лишайники, поедающие его древесину. – Буравков тронул на пульте невидимую клавишу, и дерево заволновалось, испуганно зашевелило всей своей огромной кроной, словно в него задул ураганный ветер, готовый сорвать и унести листву. Или села в середину огромная тяжелая птица, нагибая ветви, распахивая крону, готовая вить гнездо. – Астрос думает, что это он выращивает заговор, помещает его в самую глубину ветвей, маскирует, прячет от враждебных глаз. Но я-то знаю, где таится его смерть. Где на этом электронном дубе, к какому суку прикован волшебный сундук с зайцем, с уткой и колдовским яйцом, в котором спрятана игла с Кощеевой смертью. В должный час я сброшу сундук на землю, затравлю зайца, подстрелю утку, расколю яйцо, выну из желтка иглу со светящимся жалом и передам ее Избраннику. Он отломит ядовитый кончик, и Астрос умрет. Мэр из грозного Черномора превратится в трусливого угодливого человечка, знатока городской канализации и водопровода. Он будет на праздниках города возглавлять колонну скоморохов и сам, в дурацком колпаке с бубенцом, понесет портрет нового Президента. А иглу с отломанным кончиком я подарю премьер-министру Израиля, чтобы тот пользовался ею в качестве зубочистки после употребления кошерной пищи!

Буравков засмеялся, протянул руку к магическому столику. Выключил экран. Электронное дерево погасло, будто его срубил топор. Вспыхнул мягкий матовый свет. Белосельцев стал изумленно озираться, словно с него сняли маску с парами эфира и он медленно возвращался в реальный мир, чуть размытый в своих очертаниях. Буравков и Гречишников смотрели на него глазами ласковых врачей, радующихся выздоровлению пациента.

– Пора, – сказал Буравков, вновь оказавшийся в парадном серо-стальном костюме и малиновом галстуке, в котором, как полярная звезда, блистала алмазная булавка, – нас ждут на фестивале «Созвездие». Там будет Прокурор, любитель ночных бабочек. Но сам попадет в сачок! – Он снова засмеялся, заколыхал под галстуком пеликаньим зобом, и его большой вислый нос приобрел отчетливое сходство с тяжелым клювом.

Глава восьмая

Действо, на которое они устремились, происходило в концертном зале «Россия». И первое, что изумило Белосельцева, – это огромная, красочная, расцвеченная лампами и газовыми трубками надпись, возвещавшая о торжестве: «Созвездие Россия». На ней было множество взлетающих звезд – целый салют мерцающих, золотистых шестиконечных звезд, а слово «Россия» было выведено шрифтом с неуловимыми искривлениями и характерным наклоном влево, напоминающим еврейский алфавит.

К цоколю то и дело подлетали глазированные, роскошные лимузины с воспаленными хрустальными фарами, хромированными радиаторами, фиолетовыми вспышками, иные с дипломатическими номерами и крошечными флажками на капотах. Из них выходили великолепные дамы с обнаженными плечами, они были в драгоценностях, в бальных туалетах, приобретенных у знаменитых кутюрье. Дамы преподносили себя толпе репортеров и операторов, убежденные, что ими любят, их узнают, их сияющие лица и драгоценности украсят лакированные страницы модных журналов. Им сопутствовали мужчины в смокингах, в изысканных костюмах, гордые, властные и надменные, успевавшие, тем не менее, лучезарно улыбнуться фотокамерам и телеобъективам, зная, что о каждом в разделах светской хроники расскажут невероятные истории их любовных походов, курьезных браков, с перечнями киноролей, шокирующих привычек, странных пристрастий и аномалий. Их машины, одежды и драгоценности были самые дорогие, прически, грим, духи – высшего качества. Их походка, жесты, манера улыбаться и кланяться, искусство ступать, слегка выворачивая колени и бедра, ничем не отличались от повадок голливудских звезд, приглашаемых на вручение «Оскаров». Однако Белосельцеву чудилась в них едва уловимая вторичность, тщательно скрываемая искусственность, почти незаметная тревога и неуверенность – так ли они воспроизводят великосветский стиль большого искусства, верно ли копируют здесь, в провинциальной Москве, знаменитые американские подлинники.

Они предъявили свои пригласительные карты, и суровые в фирменных пиджаках с бронзовыми пуговицами охранники, еще недавно сидевшие в засадах на чеченских дорогах, отрабатывавшие приемы рукопашного боя в воздушно-десантных войсках, молчаливые здоровяки с приколотыми бирками, пропустили их в просторный, слабо озаренный зал, напоминавший рокочущее море, перебивавшее на отмели драгоценные раковины и разноцветные камни.

– Все, что вы видели на экране, здесь представлено в натуральном виде, – пояснял Буравков, вводя Белосельцева в блистающий мир, наполненный независимыми гордецами, влиятельными политиками и свободолюбивыми журналистами. – «Новая Хазария», полная, но еще не провозгласившая свой государственный статус.

Белосельцев в сумраке зала пытался разглядеть Прокурора. Лица гостей были почти не видны. Лишь иногда, словно радужная росинка, вспыхивал бриллиант на обнаженной груди. Или гуще, темнее становилось скопление в рядах, оживленнее рокот голосов там, где оказывалась особо важная персона.

Сумрак сгущался, становился непроглядней, превращался в полный мрак, в котором умолкали голоса, стихали шарканья и воцарялась тишина, напряженная и живая, какую может создавать тысяча ждущих, замирающих от нетерпения зрителей. В этой затянувшейся тишине и беспросветной тьме возникло тревожное ожидание. Оно соединяло людей в одну общность, в один народ, окруженный бесконечным пространством, враждебным мирозданием, с беспредметными страхами, с невыявленными угрозами. Эти опасности и напасти сплотили избранное племя для непрерывной борьбы, неутомимой молитвы, неутолимой надежды и веры. Вера и неиссякаемое зывание к Богу, слезное выпрашивание его мило-

стей, готовность преодолеть все напасти и кары Господни выливались в ожидание Божией награды – вселенского благополучия и власти над остальными народами, от которых исходили вековечные угрозы и страхи. Религиозное ожидание, царившее в зале, постепенно побеждало тьму, в которой начинали мерцать едва заметные блески и искры. Их становилось больше. Словно кончалась неодоушевленная пустота Вселенной, появлялись признаки населенных миров, близились долгожданные одухотворенные пространства, угадывалось соседство Обетованной Земли. В тишине, сначала неуловимо, а потом все отчетливей, зазвучали скрипки. Тихие, сладостно-печальные звуки еврейских местечек, оглашаемые воздыханиями бледных темноглазых музыкантов, играющих в корчме Бердичева, где за дощатым столом, возглавляемая чернобородым степенным отцом, сидит многочисленная благообразная семья. Она смотрит на фарфоровое блюдо, где лежит серебряная, окруженная кудрявой зеленью и красными стручками перца рыба фиш.

Музыка становилась все более страстной и сладостной. В мерцании неба вдруг возник и приблизился, озарился красным свечением огромный летящий петух с огненным гребнем, развеянным хвостом. Он проплыл над залом, под восхищенное аханье обомлевших зрителей, приветствующую мистическую птицу как знак услышавшего их божества. Вслед за красным петухом возник голубой, с раскрытым клювом, с белым дышащим нимбом, с развеянными волнообразными перьями. На спине петуха сидела обнаженная женщина, рыжая, зеленоглазая, с розовыми сосками, с пучками жарких, торчащих из подмышек волос. Все в зале приподнялись, заплодировали прекрасной наезднице, провожая ее воздушными поцелуями. В небе возникла невеста, в белом подвенечном платье, в венке из цветов жасмина. Жених с малиновой розой в петлице, страстный, краснотелый, обнимал свою избранницу за пышные бедра. Они летели в небе, перевертывались. То она нависала над ним пышными, не помещавшимися в платье грудями. То он царил над ней, притягивая ее к своей полосатой жилетке, сгибая от возбуждения ногу в блестящей туфле. Резвясь, заполняя все небо своей любовной игрой, предвещая мирозданию славную еврейскую свадьбу, проплыли жених и невеста. Ее пелерина дышала, как перистое прозрачное облако. Вслед за ними пролетела по небу корова. За ней крылатые ангелы выстроились в гусиный клин. Протанцевала белая хатка с синими ставнями, крытая черепицей. Следом другая, крытая желтой соломой. Зал восторгался, рукоплескал, славил божественного Марка Шагала, запускавшего в небо, подобно дирижаблям и аэростатам, пышных красавиц, зеленых рыб, пылающие девятисвечники, пурпурных молодых, чернявых щеголей, утомленных богослужениями раввинов и снова – восхитительных петухов, своим кукареканьем в центре Москвы возвещающих новую эру, новое утро, новое солнце, остановленное в небесах по воле великого чудесника и воителя...

Один из петухов отделился от небесного свода. Он стал снижаться, как фантастический дельтаплан, сопровождаемый пятном прожектора. Опустился на сцену. Приподнял крыло, и из-под крыла, сквозь красные и зеленые перья, вышел сияющий, блистательный, известный на всю страну содержатель телевизионного казино, в котором он собирал вокруг своего магического «колеса счастья» наивные толпы, верящие в чудесный выигрыш.

– Господа, – восторженно, с легкой хрипотцой, блистая белыми, из чистейшего фарфора, зубами, произнес спустившийся с неба посланец, – я явился к вам из других миров, где для жизни вечной среди миллиардов земель выбираются отдельные выдающиеся экземпляры. Этот выбор сделан, и я хочу представить вам новых небожителей, чьи имена горят, как звезды, как золотые девятисвечники!.. Вот они, снискавшие наше обожание и любовь!.. Одна из них прекрасна, как царица Савская!.. Другой великолепен и мудр, как царь Соломон!.. Слава им!..

Посланец, появившийся из чрева петуха, взмахнул рукой. Занавес раздвинулся, и в аметистовых лучах появились лауреаты «Созвездия». Они шагнули навстречу восхищенному, грохочущему овациями залу.

Белосельцев, вовлеченный во всеобщее ликование, потянулся к аметистовым лучам, казалось, летящим на сцену из небес, прямо из Господней длани, высвечивая из всех живущих на земле миллиардов этих двоих, отмеченных божественной милостью. Одна была маленькая, изящная дикторша, известная своей прелестной улыбкой, воспетой влюбленным псалмопевцем, а также своими печально-прекрасными глазами, вззирающими на жестоко-сердный мир из самой глубины варшавского гетто. Второй счастливец был руководителем аналитической программы. Его прищуренные, пронизательные глаза, слегка увеличенные стеклами очков, казалось, прозревали самые скрытые и замысловатые комбинации кремлевских властителей, а рыжеватые благообразные усы придавали ему респектабельность лорда, знающего, как управляться с черепашым супом и серебряными щипцами, раскалывающими панцирь лобстера. Оба светились в лучах, словно были созданы из неземного вещества. Они позволяли любоваться собой. Милостиво прощали обожателям их восторги. Слегка поворачивались, давая возможность всему залу видеть, какие чудесные изумрудные серьги висят в маленьких ушках прелестной женщины, какой безукоризненный, сияющий лаком пробор разделяет причесанные волосы аналитика.

Демонстрация прелестей и пробора продолжалась минуту. И затем на сцену, бодрый, великолепный, пышущий здоровьем и благополучием, щедрым жизнелюбием и воинственностью, вышел Астрос, главный устроитель церемонии. Он был бел лицом, с румяными щеками, голубыми, навывкате, глазами. Его сочные пухлые губы счастливо улыбались. Бодрое тело наслаждалось великолепно сшитым костюмом, удобными туфлями, вольно повязанным галстуком, оно двигалось свободно и независимо. Всем своим видом он демонстрировал победу, одоление вековой несправедливости, удерживающей разбег талантливого народа, вынужденного сжиматься, таиться, терпеть унижения свирепых грубиянов, ленивцев и неучей. Теперь эти времена миновали. Гнет был преодолен. Мощь и красота еврейского интеллекта, неусыпное трудолюбие, неукротимая воля двинули вперед дружный, искушенный, закаленный страданиями, окрыленный верой народ. И он уже не свернет с пути, сметет ненавистников, жестоко подавит ревнивцев, заставит работать ленивых, научит необразованных, просветит заблудших. Даст всем великую цель. Поведет к процветанию дику, несметно богатую страну, лишь на время отданную Богом в руки мракобесов и дикарей.

Именно это демонстрировал Астрос, когда, радостно улыбаясь, шел через сцену. Зал вскипал, как шампанское, приветствуя своего идеолога и вождя. Он любил в нем каждую клеточку, каждый волосок, каждую белую ресничку. Был готов унести эту бесцветную ресничку в ладонях, чтобы вырастить из нее ливанский кедр своего преуспевания.

— Телевидение — это не просто власть, с помощью которой мы подавляем мятежников, умирняем врагов, изгоняем предателей, возводим на вершину самых талантливых и преданных! — начал Астрос свою радостную, хвалебную речь. — Телевидение — это не только информация, которая выявляет событие, подмечает явление, называет человеческую личность и ее деяние, и тогда она существует, она — реальность, с которой нужно считаться. Или эту личность игнорируют, даже будь она Александр Македонский или Александр Пушкин, и тогда она не существует, не рождалась, умерла, не появившись на свет... Телевидение, — Астрос вытянул вперед руки, ладонями вверх, призывая в свидетели верховное Божество, которое тут же пролило на его белые ладони аметистовое сияние, — телевидение — это религия, которая захватывает всю полноту человеческого бытия, требуя от человека поклонения, любви и смерти, вызывая в нем реликтовый ужас или порождая несбыточную мечту. Это многоцветное диво, переливающееся на экранах множеством форм, ликов и ипостасей, неулови-

мое в своей сущности, неотразимое в своей красоте, неодолимое в своем могуществе, и это электронное чудо находится в наших руках, служит нашему делу. Вот почему награждаемые сегодня лауреаты – не просто великолепные мастера, не только любимцы и кумиры публики, но и жрецы, стоящие между Богом и людьми. Умеющие угадывать пожелания Бога, управлять с помощью этих желаний своенравной толпой. Я горжусь, что работаю с этими великолепными магами. Я счастлив, что могу прилюдно, в присутствии лучших представителей нашего круга вручить им награды! – Астрос поднял вверх заостренную ладонь, на которой аметистовый луч зажег драгоценный перстень.

Грянула музыка. На сцену вышли жених и невеста, которые только что летали в небесье, играя и перевертываясь, как два влюбленных дельфина. В руках у них были ларцы. Они остановились перед лауреатами. Невеста с белой фатой и соблазнительно распахнутой грудью – напротив аристократического аналитика. Жених в полосатой жилетке с пунцовой розой в петлице – перед милой, напоминающей невинную Дюймовочку дикторшей.

Астрос, сохраняя на устах ликующую улыбку, открыл ларцы. Извлек из них две маленькие, усыпанные бриллиантами короны с острыми, как на статуе Свободы, лучами. Ловко водрузил диадемы на головы лауреатов. Затем отошел в сторону, приглашая зрителей полюбоваться. Зал бушевал, славил своих любимцев, посылал им свои восторги, обожание, преклонялся перед ними. Усатый аналитик, увенчанный бриллиантами, кланялся осторожно, чтобы не уронить корону, он прижимал ладонь к груди, растроганно блеснул сквозь очки увлажненными глазами. Дюймовочка мерцала на темечке алмазной лучистой звездой, взволнованно, много раз повторяла: «Спасибо!..» Углядев в зале американского дипломата, послала ему воздушный поцелуй, произнеся: «Сенкью!..»

Астрос взял лауреатов за руки и, как своих детей, увел со сцены.

Появились верткие скрипачи-виртуозы и, орудуя усиками смычков, проворные, дружные, с черными закрывками фраков, похожие на энергичных кузнечиков, сыграли радостный мажорный танец, под который Саломея искушала сладострастника Ирода, а поздние поколения развеселившихся иудеев танцевали, просунув под жилетки большие пальцы рук, оттопыривая себе выпуклые груди.

Вслед за ними высыпала целая толпа музыкантов с трубами, саксофонами, тарелками, ударными, контрабасом. Задудела, загромыкала, забарабанила. Засверкала медью, белым серебром, смуглым лаком, одинаковыми белоснежными улыбками. Маленький приветливый дирижер, копируя Леонида Утесова, расхаживал перед оркестром, поворачивался лицом к залу, подмигивал. И зал упивался музыкой из кинофильмов «Веселые ребята», «Свинарка и пастух», и кто-то из рядов воодушевленно кричал: «Браво!»

Затем на сцену выкатили белый рояль. Распахнули настежь крышку. Пианистка, пышная, в бархатном платье, из-под которого виднелись полные розовые ноги в маленьких туфельках, громко и мощно играла Шнитке, погружая в клавиши все десять растопыренных, усыпанных кольцами пальцев, будто отталкивая от себя рояль. А потом вскакивала, погружала торс в раскрытое нутро рояля, нащупывала в нем какую-то щемящую, умоляющую струну, казалось, стараясь ее выдернуть, как нерв больного зуба. Затем доставала откуда-то крохотный стеклянный колокольчик, который дрожал у нее в руке, издавая хрустальный звон. Снова возвращалась к роялю, била в него, яростно оттаптывала педали, от возбуждения покрывалась малиновыми пятнами, которые со щек спускались на полную шею и ниже, за вырез бархатного платья.

Концерт завершил известнейший зарубежный рок-певец, изображавший сатану, с клыками вампира, волосатой дымящейся грудью, разбухшими в плавках гениталиями. Он харкал кровью, швырял в зал липкие внутренности растерзанной жертвы, полосовал себя цепями, вскрывал вены, бился в изнурительном незатихающем оргазме и под конец вознесся в бело-голубом пятне лунного света, бросая в зал жуткую рогатую тень.

На этом концерт окончился. Вальяжный держатель телевизионного казино направил воодушевленных гостей в соседний банкетный зал, сопровождая их возгласами: «Уж и погуляем, господа!» Все потекли, словно блестящая слюдная река, и у Белосельцева возникло ощущение, что мимо него скользит по камням чешуйчатая шелестящая ящерица, унося из зала гибкий шуршащий хвост.

– Через некоторое время мы отыщем Прокурора, и ты постарайся его увезти, – глухим от волнения голосом сказал Гречишников, пропуская вперед Белосельцева.

– «Как ныне сбирается вещий Олег...» – попробовал пошутить Буравков, ступая следом, но было видно, что он волнуется.

Залипая в вязком потоке туалетов, драгоценностей и причесок, они втроем потекли в банкетный зал.

Уже при входе Белосельцев ощутил обжигающее дыхание невидимых лучей, разящую радиацию, давление ядовитого жара. В просторных дверях, ведущих в банкетный зал, колыхалось прозрачное зарево, как над чернобыльским реактором, из которого источался ядовитый туманный чад. Накаляя воздух, из расплавленной сердцевины реактора выносились незримые потоки смертоносных частиц, убивающие деревья в лесах, рыбу в озерах, людей в селениях. Частицы проникали в сталь машин, в глубину камня, в молекулы воды, в кровяные тельца, преобразая их в свое подобие. Делали их источником губительных сил. Подобное же злое дыхание, свечение смертоносных лучей ощутил Белосельцев, заглядывая в банкетный зал. На длинных столах было тесно от обильной еды, вкусного мяса, благородной рыбы, пышной зелени. Теснились на блюдах копчености и заливные. Искрились маринады и разносолы. По всему столу, головами в одну сторону, подогнув колени, стояли жареные поросята с румяными корочками на боках, с пытливыми, вытянутыми пяточками. С ними перемежались осетры с зубчатыми спинами и острыми, как веретена, клювами. Вдоль столов, вторгаясь в стройные ряды кушаний, хватая вилками и цапая руками, рассекая ножами и разрывая пальцами, стояли гости. Они жадно жевали, глотали, давились, роняли жирные куски на пиджаки и платья. Поливали свои одежды вином и водкой. Блестели мокрыми губами. Двигали челюстями. Погружали зубы в пороссячи ножи. Над столами раздавался ровный, из тысячи звуков сотканный шум, где хрусты, звоны и бульканье, свисты, стуки и хлюпанье сливались в сочное урчание, какое издает мутная струя воды, утекающая в сливное отверстие. Туда, в это невидимое отверстие, сливалось земное вещество, пропущенное сквозь пищеводы толпящихся у столов разодетых гостей. Превращалось в испарину, бесцветный туман, ядовитое зарево, витавшее над столами. Это зарево, от которого слезились глаза и начинали гореть слизистые оболочки носа, ощущалось Белосельцевым как продукт распада и перерождения земного вещества. Как результат жизнедеятельности инопланетян, спустившихся на Землю, чтобы накормиться ее атмосферой и жизнью.

И в этот реактор, в эту ядовитую злую среду он должен был войти без скафандра. Жесткие лучи мчались сквозь проемы дверей жалящими потоками. Дышало прозрачно-туманное адово зарево. И он, набрав глубоко воздух, сжав глаза, шагнул в это пекло.

Он издали углядел Прокурора, его дряблое, как остывший кисель, лицо, маслянистые, как ягодки облепихи, глазки, белесую лысеющую голову, напоминающую кукурузный початок в путанице блеклых волосьев. Первым побуждением Белосельцева было подойти, вступить в общение. Но инстинкт осторожности, проверенный опыт разведчика, устанавливающего опасные контакты, заставлял его медлить. Постепенно, от одного гостя к другому, он стал приближаться к Прокурору, ненароком попадаясь ему на глаза, давая возможность привыкнуть к его, Белосельцева, появлению, уверовать в случайность их встречи.

Гости, утолив первый аппетит и жажду, забросав в себя массу ломтей мяса и рыбы, опрокинув в горящие от соленостей пищеводы потоки вина и водки, складывались в отдель-

ные кружки и группы. В центре каждой, словно семечки в недрах сочного сладкого плода, находилась какая-нибудь особо яркая именитость. Чтобы доклеваться до нее, приходилось пробиваться сквозь клейкую мякоть, ароматы духов, дым табака, мельчайшие капельки при-торных выделений.

Гости обступили счастливых лауреатов, на головах которых продолжали сверкать алмазные венцы. Обе знаменитости держали бокалы шампанского. Усатый аристократ-аналитик, воодушевленный успехом и шампанским, произносил тост в честь Астроса. Тот радостно и наивно внимал, глядя на говорившего с любовью кукольного мастера, создавшего изощренное и затейливое изделие. Прелестная дикторша-дюймовочка обворожительно улыбалась, позволяя собравшимся рассматривать свои пленительные черты. Она посылала Астросу с вершины смоляной головки алмазный луч благодарности и счастья.

– Вы – Творец в самом высоком, религиозном смысле. – Эту фразу аналитика услышал Белосельцев, подойдя к блистательному кружку. – С помощью телевидения вы сотворяете землю, природу, земные существа, устанавливаете закон бытия, побуждаете следовать этому закону... До вас эта страна напоминала каменистую безлюдную планету, кое-где покрытую мхами и лишайниками, населенную бактериями и червями. Вы же создали атмосферу, насадили прекрасные растения, сотворили высшие существа, создали истинного человека, который повторяет ваши заповеди как символ веры... Пью за ваши творения, среди которых почитаю и себя, созданного, что называется, по образу и подобию вашему! – он потянул к Астросу бокал.

Дикторша, трогательно улыбаясь, добавила:

– В саду, который вырос на нашем телевидении, в самом его благоухающем месте, растет великолепный цветок – астра, а над ним сияет синяя звезда Астрос!

Все три бокала сдвинулись, издав мелодичный звон. Окружающие заплодировали, восхищаясь этим неповторимым содружеством.

Белосельцев всматривался в миловидное женское лицо, столь знакомое по выпускам новостей, где главное место занимали такие, от которых не хотелось жить. Возникало тупое бессилие перед бесконечной чередой катастроф, обугленных самолетов, рухнувших мостов, обгорелых тел, обтянутых кумачом гробов, изуродованных пулевыми отверстиями лиц, рыдающих вдов, вскрытых, с остатками трупов, могил, исколотых шприцами наркоманов, раздутых, с водянкой мозга, младенцев, пьяных матерей, бегающих с топорами отцов, изнуренных старух, разрушенных городов, отравленных рек, срубленных лесов. И благородных еврейских интеллигентов, убеждающих несовершеннолетнего, обреченный на вымирание народ повернуться лицом к общечеловеческим ценностям. Это милое, ласково-печальное лицо напоминало надгробие в виде ангела. И созерцая его вблизи, Белосельцев испытал головокружение, породившее особую зоркость, род ясновидения, как у кудесников и искателей кладов.

Он вдруг увидел, какой у нее огромный, горбатый, со слизистыми ноздрями нос. Какие кривые, с вывернутыми коленями ноги, словно она всю жизнь просидела на чьей-то потной, скользкой спине. Ее живот, который виднелся сквозь платье, был складчатый, отвислый, в наплывах желтого жира, словно старая хозяйственная сумка, а пупок черный, набитый сором, с нездоровым фиолетовым вздутием. Ее лобковый волосистой покров занимал половину живота и напоминал набедренную повязку, сделанную из черной овчины. Ляжки, вплоть до колен, были покрыты экземой, мелкой розовой сыпью, крохотными гнойными точками. И вся она пахла теплой гнилью, как только что сброшенный с нарыва бинт.

– Помню наш весенний разговор на яхте, на Женевском озере, – говорил аналитик Астросу, беря его дружески за шелковый галстук. – Вы пророчили, что этой осенью из Кремля вынесут большое мертвое тело и повезут его мимо Триумфальной арки и Поклонной горы в Барвиху. Похоже, ваше пророчество начинает сбываться.

Своим ясновидящим взором Белосельцев обнаружил, что под тканью дорогого костюма тело аналитика лишено сосков, пупка, гениталий. Не имеет волосяного покрова. На нем отсутствует живая человеческая кожа. Все оно, как мобильный телефон, помещено в плотный черный чехол с зашнурованными жесткими швами, проходящими вдоль рук и ног, по ребрам и паху, охватывая промежность и поднимаясь вверх, по спине. Внутри кожаной, стянутой шнурками оболочки что-то мелодично позванивало. Озарялись цифры. В прорезях виднелись кнопки. По крохотным экранам пробегали синусоиды. Лауреат был электронный, фирмы «Филипс». Он находился в постоянном электронном контакте с отдаленными передающими центрами, соединяясь с ними через серию ретрансляторов. И пока его усатая человеческая голова разговаривала с Астросом, его электронное тело связывалось с «Боингом-747», который летел сейчас над штатом Флорида и в котором находился шеф ЦРУ.

Белосельцеву стало не по себе. Разведоперация, которая ему предстояла, была намного опасней тех, что он совершал в ущельях Афганистана, пустынях Анголы, джунглях Кампучии, сельвах Никарагуа. Противник, с кем ему предстояло сразиться, был из племени ада. Разоблачение грозило не просто истязаниями и пытками, а муками ада. Он был нелегал, проникший в преисподнюю. В случае, если его опознают, за ним захлопнутся врата ада, и он больше никогда не вернется на землю. От этой мысли ему стало жутко. Но он победил свой ужас и, чувствуя, что побледнел и на висках выступила испарина, он, тем не менее, двинулся дальше, изображая рассеянную веселость и легкомысленное любопытство.

В окружении поклонников и последователей, делая вид, что не замечают их ищущих, обожающих взглядов, стояли три персоны, которые долгие годы принято было именовать «молодыми реформаторами», хотя время, проведенное ими на телеэкранах и пресс-конференциях, в правительстве и парламенте, усилия по созданию движений и партий, учреждению личных банков и корпораций, – это время не прошло для них даром. Все трое, казалось, изрядно полиняли, облупились, осыпались, и сквозь опавшие млечные краски молодости проступила костяная желтизна, делавшая их похожими на одинаковые, хорошо заточенные клыки.

Один из них был мужчина с мелкокудрявыми волосами, которые он тщательно разглаживал с помощью паровых компрессов. Его большое лицо было похоже на миску, в которой мешали кисель и забыли вынуть ложку. Кисель сохранил застывший завиток, делавший лицо недовольным, брюзгливым, иронично-болезненным. На этом недомешанном лице тревожно и самолюбиво поблескивали глаза, под которыми образовались нездоровые мешочки, похожие на клецки. Он говорил громко и назидательно, с поучающими интонациями, словно кафедральный профессор, втолковывающий мысли не слишком сообразительным студентам.

– Если вы хотите потворствовать расползанию по стране «русского фашизма», вы бы не могли для этого изыскать лучшее средство, чем и впредь поддерживать все это кремлевское уродство и непотребство. Я же предлагаю вам соглашение на принципиальной основе, которая будет понятна демократам как внутри страны, так и за ее пределами...

Ему отвечал второй реформатор, очень бледный, с иссиня-черными, стеклянно блестящими волосами, который одно время считался любимцем Президента, его приемным сыном и прямым наследником. В этой роли он ходил несколько месяцев, повелевал, грозно красовался на заседаниях правительства, принимал присягу на верность от министров, художников и банкиров, но потом был внезапно удален из Кремля, отброшен ударом ночной туфли, выброшен из теплой уютной квартиры под дождь. С тех пор обида и неутоленность сделали его мертвенно-бледным, подозрительным и принципиальным. Ибо повсюду он угадывал скрытое злорадство, злые насмешки и шепотом произносимое слово: «Выкормыш».

– Вы не правы, никто не желает, чтобы «Газпром» питал своими трубами газовые камеры для демократов. Вы знаете, я не честолобив, не стремлюсь к личной власти. Готов работать на общее дело хоть трубочистом. Но я полагаю, если мы хотим достичь желаемой цели и коренным образом изменить ситуацию в Кремле, мы должны сплотиться вокруг одного человека. И этим человеком, как бы вам ни горько это было услышать, должен стать Мэр...

Третьим говорящим была женщина. Ее имя было похоже на название японского острова. Ее фигура напоминала колючую веточку засохшей сакуры. Ее подвижные, с ухоженными ноготками руки имели сходство с кошачьими лапками, только что растерзавшими наивную птичку. Она смотрела на обоих мужчин, как на костюмы, висящие в гардеробе, высматривая на них пылинки.

– Доверьтесь моей интуиции, господа. Сейчас самое время, чтобы добиться расчленения атомного монстра, доставшегося нам от времен Курчатова и Берии. Мы начали приватизацию атомной энергетики, и ваши связи – одного на Западе, другого в правительстве – должны ускорить создание банка, где будут учтены интересы и наших партий, и наши личные. Поверьте интуиции восточной женщины, господа...

Белосельцев слышал все это, пробравшись к столу, делая вид, что его интересуют ломтики рыбного заливного с замороженными дольками лимона. Искоса, боясь привлечь внимание, он рассматривал всех троих своим ясновидящим взором.

Первый, тот, что напоминал кафедрального баптистского проповедника, имел лишь голову человека, а в остальном был рыбой. Сразу под воротничком и галстуком, выступая едва заметной блестящей кромкой, шла чешуя. Она спускалась вниз по туловищу, вздувалась на боках с красноватыми жесткими плавниками, мокрыми от слизи. Местами чешуя отсутствовала, как у зеркального карпа, и вместо нее была мокрая холодная кожа, издававшая запах водоема. Там, где туловище начинало сужаться, под треугольным плавником отчетливо было видно анальное отверстие, из которого сочилась молока. Она стекала к хвосту, под штанины, набегала на пол маленькой лужицей около модной туфли. Туфля переступила, и от подошвы потянулись мутные липкие нити.

Второй, с бледным лицом оскорбленного испанского гранда, на самом деле был собакой. Непородистым бобиком с клочковатой шерстью по всему жилистому костлявому телу, с пролысинами на спине от частого пролезания под заборами, с репейником на хвосте и с черной неутолимой блохой, впившейся в розовый пах в том месте, где размещались истрепанные семенники, испуганно вздрагивающие при каждом громком слове собеседника. От него сквозь дорогой мужской одеколон пахло псиной, и он, поглядывая на резную золоченую колонну, с трудом удерживался, чтобы не приподнять ногу в блестящей, с тупым носком туфле.

Дама, продолжавшая говорить о создании банка, лишь по грудь была женщиной, а ниже маленьких жилистых вздутий с пористыми камушками сосков была ящерицей, гибкой, серо-серебристой, с начинавшей шелушиться кожей. С чувственным изгибом хвоста, который в случае внезапного нападения и захвата был готов отвалиться, оставив на теле шевелящуюся кровавую ранку с бело-розовым позвонком. Мускулистые лапки пружинили, она отжималась ими от камня, по которому молниеносно скользнет, не оставляя следа. Она издавала едва различимый шелест, сокращая и распуская чешуйки кожи, и от нее пахло змеей.

Белосельцев не удержался от брезгливой гримасы, которую тут же заметила женщина. Она воззрилась на него недоверчивыми красноватыми глазками, и он, боясь, что будет разоблачен, роняя на скатерть рыбный холодец с лимоном, поспешно отошел.

Прокурор о чем-то благодушно витийствовал, поднимал коньячную рюмочку, чокаясь с какой-то пышной блондинкой, старавшейся походить на Мэрилин Монро. Белосельцев не

выпускал из вида его белесую, осыпанную тальком голову. Он приближался к нему неторопливо, от кружка к кружку, стараясь не спугнуть.

Три именитых деятеля либеральной культуры стояли вместе, угощаясь крохотными слоистыми сэндвичами, насаженными на заостренное деревянное копьё. Лепесток жареного хлеба, тонкий ломоть ветчины, долька соленого огурчика, пластинка сыра, красный мазок соуса, фаршированная ягодка маслины. Все это быстро исчезает в ненасытном рту известного сатирика, рождая в маслянистых глазах блудливое наслаждение, вызывая на лысом черепе мягкую испарину, оставляя в уголках губ красную томатную пенку.

— А вот еще анекдотец, — говорил сатирик, дожевывая сэндвич-малютку, прицеливаясь к следующему. Их пикантный вкус приятно раздражал его слизистые оболочки, побуждая непрерывно острить. — Значит, так. В Кремле у Президента завелись мыши. Все документы погрызли, ботинки, Конституцию, переписку с Биллом Клинтон, все изгрызли. Что делать? — Остролов мерцал глазками, ухватив руками слушателей, принуждая их заранее смеяться. — Президент в мышей и чернильницей кидал, и мышеловки ставил, и из пистолета стрелял. Ничего не помогает! — Сатирик сотрясаясь от мелких смешков, дрожа пухлым животом. — Президентский штандарт изгрызли, у двуглавого орла голову откусили, в стакане с водкой мышиный помет оставили. Наконец Коржаков, видя такое страдание хозяйина, выписал ему из Германии самого знаменитого изводителя мышей. Привез в Кремль. «Сделай милость, — говорит Президент, — мыши замучили. Помоги». Человек снял шляпу, вынул из кармана пиджака маленькую заводную мышку, повернул ключик, пустил, — юморист нагнулся, вильнув полным задом, перебирая пальцами, показывая, как быстро побежала заводная мышка. — И тут, представляете, все мыши, какие водились в Кремле, кинулись следом за механической мышью, вниз по склону, через Кремлевскую стену, в Москву-реку и утонули... — Рассказчик засмеялся, издавая щебечущие птичьи звуки. — Президент удивился, заплатил заморскому человеку хорошие деньги. Подумал и говорит: «Слушай, а нет ли у тебя такого маленького заводного еврея?» — Сатирик захохотал сочным квакающим смехом, принуждая собеседников смеяться этому характерному еврейскому анекдоту, который пользовался особым успехом именно в еврейских кругах.

Второй либеральный интеллигент, составлявший их дружеский круг, был известный кинорежиссер, поставивший в советское время несколько остроумных комедий, тонко изобличавших нравы авторитарного строя, заступавшихся за маленького обездоленного человека. Теперь же, когда фильмы больше не снимались, кинотеатры были превращены в салоны иностранных автомобилей, киностудии арендовались под склады азербайджанскими и чеченскими торговцами, кинорежиссер продлил свою славу тем, что в период предвыборной кампании больного, умирающего Президента снял фильм о его семейной жизни. Он расхваливал на всю страну пирожки президентской жены, умиленно демонстрировал избирателю скромное убранство президентской кухни, где его принимали в качестве гостя.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.